

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена **исключительно для использования в личных (некоммерческих) целях**. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя (©Европейский университет в Санкт-Петербурге). В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно. Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия с правообладателем (©Европейский университет в Санкт-Петербурге) является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.



ЕВРОПЕЙСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



**Введение**

**в историческую**

**компаративистику**

**М. М. Кром**

учебное пособие

Санкт-Петербург 2015

**УЧЕБНИКИ  
ЕВРОПЕЙСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА**

УДК 930.1

ББК 63.1

К83

Рецензенты:

*Н. Е. Коносов* (д-р филос. наук, канд. ист. наук), *С. Хирст* (PhD)

Рекомендовано к печати Ученым советом  
Европейского университета в Санкт-Петербурге

**Кром, М. М.**

К83 Введение в историческую компаративистику : учебное пособие / М. М. Кром. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. — 248 с.

ISBN 978-5-94380-189-1

Учебное пособие представляет собой введение в теорию и практику сравнительно-исторических исследований. Прослеживаются вехи развития исторической компаративистики от истоков в античной историографии до начала XXI в. Особое внимание уделяется сравнительному методу: целям и функциям сравнения, отличающим историческую компаративистику от аналогичных приемов других социальных наук, выбору сравниваемых объектов, ошибкам и трудностям, а также путям их преодоления. Приемы исторического сравнения анализируются на примере работ выдающихся исследователей: М. Блока, О. Хинце, Н. П. Павлова-Сильванского, А. Гершенкрона, М. Гроха, П. Болдуина и др. Заключительная глава посвящена истории России в сравнительной перспективе.

Учебное пособие адресовано студентам и аспирантам исторических специальностей, но оно может быть рекомендовано и тем, кто изучает другие социальные и гуманитарные дисциплины (социологию, политологию, антропологию и проч.).

УДК 930.1  
ББК 63.1

© М. М. Кром, 2015

© Европейский университет  
в Санкт-Петербурге, 2015

ISBN 978-5-94380-189-1

## Оглавление

*Введение.* Парадоксы исторической компаративистики . . . . . 7

### Часть I

#### Основные вехи развития исторической компаративистики

##### *Глава 1*

Сравнение в истории: от античности до эпохи Просвещения . . . . 15

##### *Глава 2*

Историзм и сравнительный метод (XIX — начало XX века) . . . . 24

##### *Глава 3*

Уроки Макса Вебера и Марка Блока . . . . . 39

##### *Глава 4*

Подъем исторической компаративистики во второй половине XX века . . . . . 60

##### *Глава 5*

Новые вызовы: культурные трансферы, «перекрестная» и транснациональная история и критика традиционной компаративистики . . . . . 84

##### *Глава 6*

Сравнительно-историческая социология . . . . . 94

##### *Глава 7*

Судьбы исторической компаративистики в России . . . . . 103

### Часть II

#### Историческая компаративистика в поисках метода

##### *Глава 1*

А есть ли метод? . . . . . 119

|   |     |
|---|-----|
| <i>Глава 2</i>  |     |
| Функции сравнения и его специфика в историческом исследовании . . . . .   | 131 |
| <i>Глава 3</i>  |     |
| Выбор объектов для сравнения. Типы исторических сравнений . . . . .       | 145 |
| <i>Глава 4</i>  |     |
| Советы начинающим компаративистам . . . . .                               | 155 |
| <b>Часть III</b>  |     |
| <b>Тематика сравнительно-исторических исследований</b>                    |     |
| <i>Глава 1</i>  |     |
| Сравнение в экономической истории . . . . .                               | 165 |
| <i>Глава 2</i>  |     |
| Сравнение в политической истории . . . . .                                | 171 |
| <i>Глава 3</i>  |     |
| Сравнение в социальной истории . . . . .                                  | 184 |
| <i>Глава 4</i>  |     |
| Сравнительные исследования национализма, империй и колониализма . . . . . | 199 |
| <i>Глава 5</i>  |     |
| История России в сравнительной перспективе . . . . .                      | 209 |
| <i>Заключение</i> . . . . .   | 222 |
| Библиография . . . . .  | 225 |
| Указатель имен . . . . .  | 243 |

# ПАРАДОКСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ

Эта книга представляет собой попытку анализа теории и практики сравнительно-исторических исследований в свете опыта, накопленного в мировой науке к началу XXI в. Поскольку термин «историческая компаративистика», вынесенный в заголовок данного учебного пособия, еще не стал общеупотребительным<sup>1</sup>, стоит, по-видимому, объяснить мотивы, побудившие меня предпочесть его другому, более известному названию — «сравнительная история». Прежде всего я стремился избежать двусмысленности, присущей этому понятию: «сравнительная история» воспринимается как некий особый жанр или разновидность истории, наподобие политической, социальной или экономической. А между тем это отнюдь не новое направление и не какая-то специальная область исторического знания: сравнение с самых давних времен применялось историками, и уже у Геродота можно найти соответствующие примеры. Другое дело, что в разные историографические эпохи сравнение использовалось с различными целями и неодинаковыми результатами, и рефлексия над функциями срав-

---

<sup>1</sup> В отечественной научной терминологии понятие «компаративистика» прочно утвердилось в языкознании, литературоведении, правоведении, политологии, философии, экономике (ср. альманах под таким названием, издававшийся Санкт-Петербургским университетом в 2001–2003 гг.: [103]). В последние годы этот термин стал изредка употребляться (без каких-либо пояснений) в учебной исторической литературе: так, Л. Н. Мазур использует его в значении «направление (исторических) исследований» [70, с. 455, 466], а А. В. Бочаров — как синоним сравнительной истории [67, с. 64–66]. (Здесь и далее цифры, выделенные курсивом, обозначают порядковые номера цитируемых изданий по списку литературы, помещенному в конце книги.)

нения в работе историка составляет одну из сюжетных линий этой книги.

Но есть и другая веская причина, чтобы поместить размышления по поводу сравнительного метода в истории под «шапкой» исторической компаративистики: дело в том, что с некоторых пор социологи не менее активно, чем историки, изучают прошлое, причем делают это в сравнительном ключе. Достаточно вспомнить имена Макса Вебера, Норберта Элиаса, а в более близкое к нам время — Баррингтона Мура, Чарльза Тилли, Джека Голдстоуна и ряда других выдающихся ученых. Таким образом, историческая компаративистика представляет собой в наши дни междисциплинарную область, притом что применение сравнения в каждой из упомянутых дисциплин, как будет показано в этой книге, обладает своей спецификой.

Было бы, однако, наивным полагать, что с помощью более удачного термина удастся устранить все трудности и развеять сомнения, которые сопровождают компаративистику на пути ее развития. Как увидит читатель, историческое сравнение остается занятием довольно рискованным, не сулящим легкого успеха. Более того, предмет этой книги парадоксален. Вот лишь некоторые, бросающиеся в глаза, парадоксы исторической компаративистики.

Парадокс первый: как уже упоминалось, сравнение в истории известно со времен Геродота; все историки так или иначе сравнивают свои объекты, ибо сравнение — важнейший инструмент человеческого познания. Но при этом нередко приходится слышать, что компаративистика, или, как ее чаще называют, «сравнительная история», очень молода: «Сравнительная история еще находится в стадии становления» (*“comparative history is in its infancy”*), — заметил недавно Карло Гинзбург<sup>2</sup>. Хайнц-Герхард Хаупт разъясняет, что хотя «сравнительная перспектива» неоднократно появлялась в историографии, но в качестве «методического инструмента эксплицитного теоретического сравнения» она заявила о себе только начиная с 1930-х гг. [44, с. 2397]. Речь идет, таким образом, о сознательном, целенаправленном сравнении — в отличие от не-

---

<sup>2</sup> Выступление Карло Гинзбурга на семинаре *Res Publica* в Европейском университете в Санкт-Петербурге 3 октября 2013 г.

явного и несистематического сравнения, применявшегося историками с незапамятных времен. Но даже если принять во внимание это полезное уточнение, остается неясным, почему, несмотря на количественный и качественный рост сравнительно-исторических исследований в XX в., особенно заметный в последние несколько десятилетий, историки-компаративисты, по их собственному признанию, по-прежнему составляют явное меньшинство среди коллег по профессии (см.: [40, с. 57–58; 46, с. 25 и др.]).

Есть какая-то загадка в том, что среди профессиональных историков, как заметил Реймонд Гру, многолетний редактор специализированного журнала «Сравнительные исследования общества и истории» (*Comparative Studies in Society and History*), гораздо шире распространено восхищение сравнением, чем его практическое использование [43, с. 768]. Позиция историков по отношению к сравнительным исследованиям напоминает тому же ученому амбивалентное отношение «доброго буржуа» к изысканным винам: «разбираться в них — признак хорошего вкуса, но позволить себе их отведать — это уже кажется проявлением некоторой распушенности и расточительности» [там же, с. 763].

Недоверие многих историков к сравнению в их практической работе (при признании его полезности на словах) выглядит особенно странным на фоне той исключительной роли, которую сравнение играет в других социальных и гуманитарных науках: успехи сравнительного языкознания, фольклористики или сравнительной политологии во многом основаны на систематическом применении компаративного метода. Это — еще один парадокс исторической компаративистики, нуждающийся в объяснении.

Наконец, немало вопросов в последнее время вызывает и сам так называемый сравнительно-исторический метод. Отечественные ученые, судя по главам в многочисленных учебных пособиях и руководствах по методологии истории, продолжают верить в его существование. Едва ли, однако, представленные на страницах этих книг краткие описания пресловутого «метода», выдержанные в формально-логическом ключе, способны дать начинающему историку наглядное представление о правилах сравнительно-исторического анализа и об успешности его применения в конкретном исследовании. Например, в известном труде академика

И. Д. Ковальченко говорится о том, что «историко-сравнительный метод дает возможность вскрывать сущность изучаемых явлений и по сходству и по различию присущих им свойств, а также проводить сравнение в пространстве и времени, т. е. по горизонтали и по вертикали». А ближе к концу этого четырехстраничного очерка авторский оптимизм в отношении познавательных возможностей обсуждаемого метода вдруг уступает место более скептической позиции: оказывается, «историко-сравнительному методу присуща определенная ограниченность <...>. Этот метод в целом не направлен на раскрытие рассматриваемой реальности. Посредством его познается прежде всего коренная сущность реальности во всем ее многообразии, а не ее конкретная специфика» [69, с. 187, 189].

Книга И. Д. Ковальченко была написана четверть века назад, в конце советской эпохи, но и новейшие отечественные пособия по методологии исторического исследования, изданные в 2000-х гг., выдержаны в том же абстрактно-теоретическом стиле; при этом примеры удачного применения сравнительного метода в работах историков или вообще не приводятся (см.: [67, 72]), или (как в учебнике Л. Н. Мазур: [70]) только перечисляются некоторые труды российских ученых<sup>3</sup>. По существу, весь мировой опыт исторической компаративистики XX в. остался за рамками этих учебников: российский студент, который попытается по таким пособиям научиться основам сравнительно-исторического метода, ничего не узнает ни о классических трудах Марка Блока, Отто Хинце, Анри Пиренна, написанных в сравнительном ключе, ни

---

<sup>3</sup> Из существующих учебных пособий наибольшее внимание методологии сравнительно-исторического исследования уделено в книге М. Ф. Румянцевой [71], однако основное место в соответствующем разделе отведено описанию авторского проекта «компаративного источниковедения» [там же. С. 220–317]. Что же касается исторической компаративистики в целом, то рассказ о ее становлении почему-то обрывается на трудах ученых начала XX в.: О. Шпенглера, Н. И. Кареева, А. С. Лаппо-Данилевского. О современном состоянии компаративистики читателю предлагается судить по нескольким цитатам из статьи М. Эмара [35]. Ни книги М. Блока, ни какие-либо другие конкретно-исторические работы, которые могли бы служить образцом сравнительного исследования, в учебном пособии М. Ф. Румянцевой не разбираются.

о теоретических статьях и конкретных исследованиях современных историков-компаративистов: Юргена Кокки, Хартмута Кэлбле, Питера Болдуина, Джорджа Фредриксона и многих других. Не узнает этот студент и о современных дебатах вокруг самого понятия сравнительного метода в истории.

А между тем уверенность в наличии такого метода, которая была присуща многим историкам в 20-х и даже еще в 60-х гг. XX в. (см.: [32, 84]), сейчас уже не разделяется некоторыми представителями нашей профессии. Так, упомянутый выше американский историк Реймонд Гру прямо заявил в 1980 г., что «сравнительного метода в истории не существует». Поясняя свою позицию, он подчеркнул, что «историческое сравнение не более привязано к одному-единственному методу, чем сама дисциплина истории» [43, с. 776]. Позднее некоторые коллеги Р. Гру солидаризировались с его мнением (в частности, Питер Колчин: [65, с. 75]), а нынешняя эпистемологическая ситуация неплохо характеризуется признанием, которое сделала в 2004 г. Марта Петрусевич: «Мы даже не уверены в том, — написала она, — что означает сравнительная история: подход? метод? инструмент?» Сама исследовательница, кажется, склоняется к мнению, что компаративистика, возможно, является «комбинацией многих вещей, подхода, метода и инструмента» [137, с. 146]. Иными словами, статус сравнения в исторической науке на сегодняшний момент следует признать неопределенным.

В предлагаемой книге я пытаюсь прояснить методологию исторического сравнения, опираясь как на теоретические манифесты и заявления ученых (вроде вышеприведенных), так и на получившие широкую известность образцы конкретных компаративистских исследований.

Пособие состоит из трех частей. В первой части я прослеживаю смену форм и функций исторического сравнения от Геродота до наших дней, уделяя основное внимание второй половине XX — началу XXI в., когда произошел значительный рост сравнительно-исторических исследований в мире. Вторая часть посвящена проблеме метода, которая непосредственно связана со спецификой истории как дисциплины. Наконец, третья часть представляет собой своего рода «путеводитель» по современной исторической

компаративистике, призванный познакомить читателей с основными темами и направлениями сравнительно-исторических исследований.

Во время работы над книгой я получал помощь от многих коллег. В первую очередь хотел бы выразить искреннюю признательность ректорату и Ученому совету Европейского университета в Санкт-Петербурге, поддержавшим мою инициативу развития исторической компаративистики в нашей стране и учредившим профессию по этой необычной дисциплине. Я благодарен студентам магистерской программы факультета истории ЕУСПб, слушавшим мои лекции по исторической компаративистике в 2012 и 2013 гг.: в живом общении с ними рождались многие наблюдения и оттачивались аргументы, положенные в основу настоящей книги. На формирование первоначального замысла учебного курса, а затем и данного пособия большое влияние оказало посещение летней школы по сравнительной и транснациональной истории Европы в Европейском университетском институте во Флоренции в сентябре 2012 г. и особенно лекции профессоров Яна де Вриса и Мирослава Гроха.

Написание книги, подобной этой, было бы невозможно без хорошо укомплектованной современной научной библиотеки: я благодарю директора библиотеки ЕУСПб Ону Витаутовну Лапенайте и ее замечательных сотрудников за постоянную поддержку. За ценные библиографические указания и присылку необходимых материалов я очень признателен В. Я. Береловичу (Школа высших исследований по социальным наукам, Париж), А. Ю. Володину (МГУ), В. Каплан (Университет Тель-Авива), А. С. Лаврову (Университет Париж-Сорбонна), М. Мидделлу (Лейпцигский университет), С. А. Новоселовой (ЕУСПб). Отдельная благодарность — преподавателю факультета политических наук и социологии ЕУСПб Михаилу Михайловичу Соколову, приобщившему меня в свое время к исторической социологии, и моему ассистенту Маргарите Михайловне Дадыкиной, выполнившей большой объем работы по поиску, заказу и копированию литературы, использованной при создании книги.

**ЧАСТЬ I**

**ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ  
КОМПАРАТИВИСТИКИ**



## **СРАВНЕНИЕ В ИСТОРИИ: ОТ АНТИЧНОСТИ ДО ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ**

Сравнение в истории существует столько же, сколько и сама история. И дело здесь не в том, что уже в давние времена историки изобрели особый («сравнительно-исторический») метод: до XIX в. вообще незаметно каких-либо попыток разработать теорию сравнения применительно к обществу и его истории. Просто сравнение является неотъемлемой частью любого познания как на обыденном, так и на научном уровне. Во времена Геродота грань между этими уровнями оставалась весьма зыбкой, и на примере его знаменитого труда можно видеть, как из обычной любознательности, из расспросов очевидцев событий и местных жителей в странах, которые он посетил, а также из его собственных наблюдений и путевых заметок рождается крупнейший свод исторической и географической информации обо всем известном тогда мире. При этом Геродот постоянно прибегает к сравнению, особенно при описании нравов различных народов («отец истории» с равным основанием может считаться и «отцом этнографии»). Вполне естественно, что в этих кросс-культурных сравнениях (как сказали бы сейчас) в качестве своего рода мерила и необходимого элемента сопоставления выступают хорошо знакомые Геродоту и его читателям обычаи Эллады. Так, о египтянах он пишет: «Среди других достопримечательных обычаев есть у них обычай исполнять песнь Лина, которую поют также в Финикии, на Кипре и в других местах. Хотя у разных народов она называется по-разному, но это как раз та же самая песнь, которую исполняют и в Элладе и называют Лином. <...> У египтян есть еще и другой обычай, сходный с эллинским, именно с лакедемонским, вот какой. При встрече со старцами юноши уступают дорогу, отходя

в сторону, и при их приближении встают со своих мест. Напротив, следующий египетский обычай не похож на обычай какого-нибудь эллинского племени: на улице вместо словесного приветствия они здороваются друг с другом, опуская руку до колена» (История, II, 79–80, цит. по изд.: [4, с. 103, 104]).

В другом месте своей «Истории» (VI, 58–59) Геродот сравнивает погребальные обычаи спартанцев с персидскими [там же, с. 289–290]. Порой он на основании внешнего подобия готов даже допустить, что какие-то детали религиозных обрядов греки заимствовали у «варваров»; таково, например, его предположение — впрочем, ошибочное — о ливийском происхождении одежды и эгиды на изображении Афины Паллады (IV, 189 [там же, с. 235]).

Сравнение в труде Геродота играет также важную композиционную роль: в первых, «этнографических», книгах «Истории» оно помогает организовать разнородный материал по принципу сходства и различий описываемых нравов с обычаями эллинов, а когда речь доходит до центральной темы — греко-персидской войны, противопоставление маленького, но свободолюбивого народа огромным полчищам «варваров», ведомым царем Ксерксом, становится лейтмотивом повествования.

Следует отметить, что применение сравнения в античной историографии коррелирует с избранным масштабом исследования. Так, местом действия «Истории» Геродота выступает вся тогдашняя ойкумена, и неудивительно, что сравнение, как было показано выше, является излюбленным его приемом. Между тем другой великий греческий историк Фукидид почти не пользуется сравнением, и это можно объяснить ограниченным масштабом его работы: как известно, «История» Фукидида — один из шедевров древнегреческой исторической мысли — полностью посвящена событиям Пелопоннесской войны, являясь, по сути, ее монографическим исследованием. Но когда спустя несколько веков, уже в эллинистическую эпоху, Полибий впервые предпринял опыт написания «всеобщей истории», он, естественно, не смог обойтись без сравнений.

Поясняя свой замысел, Полибий пишет: «Раньше события на земле совершались как бы разрозненно, ибо каждое из них имело свое особое место, особые цели и конец. Начиная же с этого вре-

мени (I Пунической войны. — М. К.) история становится как бы одним целым, события Италии и Ливии переплетаются с азиатскими и эллинскими, и все сводится к одному концу. Вот почему с этого именно времени мы и начинаем наше изложение» (I, 3, цит. по изд.: [8, т. I, с. 149]. Смысл же происходивших событий историк видел в установлении господства Рима над тогдашним миром: «Совокупность всего, о чем мы вознамерились писать, составляет единый предмет и единое зрелище, именно: каким образом, когда и почему все известные части земли попали под власть римлян» (III, 1 [там же, с. 265]). Обосновывая важность избранного им предмета изучения, он сравнивал могущество римлян с прежними великими державами — персов и македонян; естественно, сравнение оказалось в пользу новых завоевателей (I, 2).

Не довольствуясь этим, Полибий в шестой книге своей «Истории», представляющей собой настоящий политический трактат, постарался объяснить успехи римлян особенностями их государственного устройства и с этой целью сравнил римскую республику с полисами критян и спартанцев, а также с Карфагеном, отметив преимущества римского войска, общественных нравов и религии (VI, 45–56 [там же, т. II, с. 32–38]). Интересно, что историк не включил в это сравнение идеальное государство Платона, и вот почему: «В настоящее время оценка Платонова государства посредством сличения его с государствами спартанцев, римлян и карфагян походила бы на то, как если бы кто-нибудь выставил одну из своих статуй и сравнивал ее с живыми, одушевленными людьми. Ведь такое сравнение неодушевленного предмета с одушевленными, наверное, показалось бы зрителю неправильным, ошибочным и ни с чем не сообразным...» (VI, 47 [там же, т. II, с. 33]). Как видим, историк даже в своих теоретических построениях отдавал предпочтение реальному опыту государственного строительства разных эпох и народов перед абстрактными моделями знаменитых философов.

Что касается римской историографии, то ей не удалось преодолеть рамки этноцентризма: ни Тита Ливия, ни Корнелия Тацита, ни других великих историков Рима никогда не интересовала судьба какого-то иного народа и государства, кроме их собственного. Поэтому сравнение практически не встречается в их трудах.

В конце античной эпохи появилось сочинение, целиком построенное на исторических сравнениях и при этом совершенно неисторическое по своему духу: я имею в виду «Сравнительные жизнеописания» Плутарха [7]. Сопоставляя биографии знаменитых греков и римлян (двадцать две такие парные биографии дошли до нашего времени), писатель-моралист рассуждал о том, кто в каждой паре выказал больше искусства в своем деле и проявил больше человеческих достоинств. При этом разница во времени жизни героев и различие исторических контекстов полностью нивелировались, и это неудивительно: в эпоху Плутарха (I — начало II в. н. э.) уже прочно утвердился взгляд на историю как на собрание назидательных примеров, как на «учительницу жизни» (*magistra vitae*), по выражению Цицерона.

Таким образом, античные историки (преимущественно греки) охотно использовали сравнение, причем с разными целями: как описательный или риторический прием (Геродот), как элемент причинно-следственного анализа (Полибий) или упражнение в моральной философии (Плутарх).

В средневековый период историческое сравнение не получило развития; причины этого нужно искать прежде всего в провинциализме, узости взглядов хронистов, интересы которых, как и их читателей, не выходили за рамки отдельных культурных областей<sup>1</sup>. Жанр всеобщей истории возрождается лишь с началом Нового времени. Знаменитый французский ученый Жан Боден (1530–1596) в трактате «Метод легкого познания истории» (1566) активно использовал сравнение, сопоставляя разные географические области и выводя из особенностей климата характеры населявших их народов, а также анализируя формы правления существовавших в античности и недавнем прошлом государств [1].

Размышления над ходом мировой истории, включая и сравнительные наблюдения, получили широкое распространение в эпоху Просвещения. Многим мыслителям XVIII в. было присуще стремление раздвинуть рамки исторического знания и преодолеть

---

<sup>1</sup> О дроблении исторического знания в Средние века на отдельные культурные области см.: *Гене Б.* История и историческая культура средневекового Запада / пер. с фр. Е. В. Баевской, Э. М. Береговской. М., 2002. С. 351–358.

традиционный европоцентризм. Так, Вольтер в статье об истории, опубликованной в Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера, перечисляя возросшие требования к «современным историкам», отмечал: «Поприще чрезвычайно расширилось. <...> Требуется, чтобы историю чужой страны не изображали точно таким же образом, как историю своей родины.

Если вы составляете историю Франции, то не обязаны описывать течение Сены и Луары, но если вы знакомите публику с завоеванием португальцев в Азии, нужна топография открытых ими земель. Желательно, чтобы вы провели за руку вашего читателя вдоль Африки и по побережьям Персии и Индии; от вас ждут сведений о нравах, законах, обычаях этих новых для Европы народов.

У нас имеется двадцать историй проникновения португальцев в Индию, но ни одна не знакомит нас с различными правительствами этой страны, ее религиями, древностями, браминами <...>. Это замечание можно отнести почти ко всем историям чужеземных стран» [5, с. 17, 18].

Другой знаменитый французский философ, Шарль-Луи де Монтескье, черпал примеры для своей книги «О духе законов» (1748) не только из истории Древней Греции и Рима и современной ему Европы, но и из истории Турции, Персии, Китая, России [6].

В конце XVIII столетия Иоганн Готфрид Гердер в своем главном труде «Идеи к философии истории человечества», соединяя естественно-научную историю с историей развития общества, сравнил строение и физические черты различных народов — от гренландцев и эскимосов, обитающих близ Северного полюса, до африканских племен и коренных жителей Америки — и пришел к выводу, что «весь человеческий род на земле — это только одна и та же порода людей» ([3, с. 171], выделено Гердером. — М. К.). В последующих частях своей книги он дал краткий очерк истории народов Дальнего и Ближнего Востока, Древней Греции и Рима, а также средневековой Европы. По мнению Гердера, история человечества являет собой поступательное движение, постепенное распространение гуманизма и культуры [там же, с. 445–450].

Комментируя взгляды просветителей, немецкий историк Теодор Шидер пишет: «Сравнение европейских и неевропейских культур и исторических процессов в историографии Просвещения имело целью выявить тождественность человеческого рода в любых его исторических проявлениях. То обстоятельство, что этот всегда себе тождественный человек был не чем иным, как человеком культуры Просвещения, представляет собою теоретико-познавательную проблему первого ранга, о существовании которой даже не подозревал историк XVIII столетия» [77, с. 146]. И далее он справедливо замечает: «Историография Просвещения не знала сравнительного метода в строгом смысле слова. Сравнение было как бы почти инстинктивно применяемым средством парадигматического доказательства основной идеи» [там же].

Действительно, ученые XVIII в., как правило, не задумывались над тем, насколько правомерны проводимые ими параллели между обычаями и установлениями народов, живших в разные времена и в разных частях земного шара. Они просто формулировали обнаруженную ими закономерность в развитии общества, а затем подбирали ряд подтверждающих ее, на их взгляд, исторических примеров. Именно таким был способ аргументации Монтескье в его книге «О духе законов», в которой он выдвинул теорию географической предопределенности нравов и политического строя разных стран. Ссылаясь на естественные свойства организма и даже на проведенные им самим опыты, Монтескье утверждал, что жара расслабляюще действует на тело и душу человека, делает его трусливым и апатичным: «Народы жарких климатов робки, как старики; народы холодных климатов отважны, как юноши» [6, с. 198]. «Не надо поэтому удивляться, — продолжает философ, — что малодушие народов жаркого климата почти всегда приводило их к рабству, между тем как мужество народов холодного климата сохраняло за ними свободу. Все это следствия, вытекающие из их естественной причины» [там же, с. 235].

Полагая, что он установил «великую причину слабости Азии и силы Европы, свободы Европы и рабства Азии», Монтескье приводит затем ряд исторических событий, подтверждающих, как он уверяет читателя, его точку зрения. Он указывает на легкость, с какой различные завоеватели покоряли Азию: это случилось в об-

щей сложности, по его подсчетам, 13 раз; в то время как Европа за всю свою историю пережила лишь четыре «великих переворота»: первый был вызван завоеваниями римлян, второй — нашествием варваров, третий — победами Карла Великого и четвертый — набегами норманнов [там же, с. 237].

Хотя подобные исторические примеры рассыпаны по всей книге Монтескье, они лишь иллюстрируют отдельные положения его социальной теории, истинный фундамент которой образуют естественно-научные представления той эпохи.

Более серьезную роль исторические параллели играют в труде итальянского философа Джамбаттиста Вико «Основания новой науки об общей природе наций» (1725). Если Монтескье сравнивал некоторые исторические события, а также право и формы правления стран Европы и Азии, то Вико обнаруживал аналогии между целыми эпохами мировой истории. По его наблюдениям, каждый народ в своем развитии последовательно проходит три стадии, которые Вико называет веками, причем каждому «веку» соответствуют свой образ правления, свое право, язык и культура. Вслед за «веком богов», когда люди верили, что ими правят сами боги, и повиновались оракулам и ауспциям, пришел «век героев» и установилось господство аристократии; наконец, с приходом «века людей» установилось сначала народовластие (народная республика), а затем и монархия. На следующем витке развития все три упомянутые стадии повторяются снова: эпоху, начавшуюся после падения Рима, когда Европу наводнили варвары, Вико уподобляет древним «божественным временам», последующий феодальный период — аристократическому «веку героев» и т. д. [2, с. 25–26, 377–386, 399–400, 415–420, 439–460].

Хотя сравнение в книге Вико носит гораздо более систематический характер, чем в каком-либо другом историческом труде, изданном в XVIII в., к нему также приложима оценка, данная Т. Шидером компаративистике эпохи Просвещения в целом: и у Вико историческое сравнение выполняет главным образом парадигматическую функцию, поскольку его теория излагается в виде аксиом уже в начале его труда, а приводимый в дальнейшем богатый историко-культурный материал призван прояснить и развить эти исходные положения. Но в заключительной части «Новой

науки» мы встречаемся с иным использованием сравнения, когда Вико, говоря о временах «второго варварства», наступивших после крушения Римской империи, отмечает, что те «темные» века могут быть прояснены при помощи того, что мы знаем о «древнем варварстве» из сочинений античных авторов [там же, с. 439]. Иными словами, речь идет о возможности восполнения лагун в наших знаниях при помощи исторических аналогий. Позднее метод заключения по аналогии рекомендовал Фридрих Шиллер в своей вступительной речи о смысле и назначении всеобщей истории, произнесенной в Йенском университете в 1789 г. (см.: [77, с. 147]).

Возвращаясь к оценке исторической компаративистики XVIII в., следует подчеркнуть, что все рассмотренные выше труды принадлежат к жанру философии истории. Этот жанр был изобретен Вольтером, который, как разъясняет Р. Дж. Коллингвуд, понимал под данным термином просто «критическую, или научную, историю, тот способ исторического мышления, когда историк самостоятельно судит о предмете, вместо того чтобы повторять истории, вычитанные из старинных книг» [15, с. 5]. Но дело не только в том, что мыслители, подобные Вольтеру, не желали в своих исторических сочинениях подражать авторам многочисленных компиляций. Существовал разрыв между философски понятой историей-рассуждением, образцы которой оставили нам Вико, Вольтер, Гердер и другие ученые XVIII в., и творчеством историков-эрудитов той же эпохи, которые, подобно Жану Мабийону, Бернару Монфокону или Лудовико Муратори, были озабочены поиском и публикацией новых источников, а также разработкой критических методов их интерпретации<sup>2</sup>. И далеко не случайно, что историческое сравнение практиковали тогда энциклопедически образованные философы, а не эрудиты-знатоки всевозможных источников. Дело в том, что обществознание в ту эпоху еще не отделилось от истории и всякая социальная теория неизбежно принимала историческую форму. Разделение этих наук произо-

---

<sup>2</sup> Об историках-эрудитах второй половины XVII–XVIII в. см.: *Вайнштейн О. Л.* Историография средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней. М.; Л., 1940. С. 95–105.

шло в XIX в., и тогда оказалось, что ближайшими наследниками Вико, Монтескье, Гердера с их теориями и генерализирующими сравнениями стали не профессиональные историки, а социологи, философы, антропологи, лингвисты.

Об этом наследии эпохи Просвещения полезно помнить при изучении судеб компаративистики в XIX столетии.

## ИСТОРИЗМ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД (XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА)

XIX столетие стало эпохой триумфа сравнительного метода, который прочно утвердился во всех естественных, социальных и гуманитарных науках — во всех, кроме истории!

Сравнение давно уже вошло в практику экспериментальных наук — таких как физика или химия, — ведь оно является необходимой логической основой любого эксперимента. Но в начале XIX в. компаративистика заявила о себе и в таких областях научного знания, в которых прямой эксперимент невозможен, — например, в сравнительной анатомии и палеонтологии, решающий вклад в создание которых внес Жорж Кювье (1769–1832). Установив принцип корреляции органов, он сумел по немногим сохранившимся костям реконструировать строение десятков видов ископаемых животных. В свою очередь, открытия Кювье оказали влияние на лингвистов того времени, став импульсом к развитию сравнительного языкознания, а также на родоначальника социологии Огюста Конта (которому, в частности, эта наука обязана своим нынешним названием). Вдохновленный успехами сравнительной анатомии, Конт полагал, что различные стадии развития человеческого рода могут быть обнаружены в воспроизведенном виде среди современного разнообразия народов мира; по его мнению, научная реконструкция истории человечества может быть осуществлена с помощью систематического исторического и этнографического сравнения (цит. по: [39, с. 193]).

Роль сравнения как логической основы естественно-научного (экспериментального) исследования наглядно продемонстрировал Джон Стюарт Милль в своем классическом труде («Система логики», 1843). Он описал четыре метода индукции; все они направ-

лены на установление причин (неизменных законов) наблюдаемых явлений. Первый метод, названный Миллем «методом схождения» (*the Method of Agreement*), действует в ситуации, когда два или более случаев изучаемого явления обнаруживают сходство только в одном обстоятельстве: это обстоятельство и есть причина данного явления. Второй метод, которому Милль придавал решающее значение и назвал методом различия (*the Method of Difference*), применяется в ситуации, когда случай, в котором изучаемое явление наступает, и случай, в котором оно не наступает, сходны во всех обстоятельствах, кроме одного, наблюдаемого только в первом случае: именно это единственное обстоятельство, благодаря которому данные случаи отличаются друг от друга, указывает на причину исследуемого явления. Помимо этих основных методов индукции английский философ указал еще два дополнительных: метод остатков (если причины некоторых частей явления уже выяснены в результате предыдущих индукций, то оставшиеся части будут следствием остальных имеющихся факторов) и метод сопутствующих изменений (если некое явление изменяется определенным образом каждый раз, когда некоторым образом изменяется другое явление, то между этими явлениями существует причинно-следственная связь) [105, кн. III, гл. 8, с. 310–323].

Однако Милль специально подчеркивал, что методы индукции, разработанные для экспериментальных наук, не подходят для нужд социальной науки: и потому, что общественная жизнь очень сложна, в ней действует множество факторов и одно и то же явление может вызываться разными причинами; и потому, что над людьми невозможно поставить искусственный эксперимент с научными целями и т. д. [там же, с. 356, 653–658]. При этом английский философ отнюдь не подвергал сомнению ни принципиальную познаваемость социальных явлений, ни научный статус общественности [там же, с. 650–652].

Проблема, поставленная Дж. С. Миллем, имеет непосредственное отношение к ключевой теме данной книги — сравнительному изучению человеческих сообществ в истории, и мы неоднократно будем к ней возвращаться в ходе дальнейшего изложения. А пока необходимо отметить, что к моменту выхода «Системы логики», т. е. к началу 1840-х гг., сравнение с успехом

применялось не только в естественно-научных, но и в некоторых гуманитарных дисциплинах, в частности — в языкознании.

Один из создателей нового направления в лингвистике, немецкий ученый Франц Бопп, начав с изучения санскрита, перешел затем к сопоставлению глагольных форм этого языка с таковыми же в греческом, латыни, персидском и германских языках (1816). Одновременно датский лингвист Расмус Раск выяснил происхождение исландского языка и его родство с германскими и некоторыми другими европейскими языками (1818). А выход труда Вильгельма фон Гумбольдта «О сравнительном изучении языков в связи с различными эпохами их развития» (1820), сравнительной грамматики индоевропейских языков Ф. Боппа (1833) и грамматики германских языков Якоба Гримма (4 т., 1819–1837) упрочил положение сравнительно-исторического языкознания в науке (краткий очерк становления этого направления в лингвистике см.: [109]).

К середине XIX в. эволюционизм и сравнительный метод проникли в те области научного знания, которые непосредственно граничили с «владениями» историков, — в археологию, антропологию и историю права. Известный английский юрист Генри Мэйн, опираясь на кодексы римского права (прекрасным знатоком которого он был) и сравнивая его с записями древних ирландских, германских, славянских и индийских законов, попытался представить общую картину происхождения права и становления социальных институтов (таких как семья и собственность) у индоевропейских народов [106].

Взгляды Мэйна на происхождение семьи подверг критике шотландский ученый Джон Мак-Леннан (кстати, тоже юрист (адвокат) по профессии). Собрав обширный этнографический материал, он оспорил тезис Мэйна о первичности и универсальности патриархальной семьи, известной нам из памятников римского права. Как отмечал столетие спустя крупнейший британский антрополог Э. Эванс-Причард, книга Мак-Леннана «Первобытный брак» (1865) — это «первая действительно систематическая попытка сравнительного анализа примитивных обществ в мировом масштабе» [112, с. 655]. Мак-Леннан старался доказать (не во всем убедительно, по мнению последующих ученых), что такие институты, как тотемизм, экзогамия (запрет браков между муж-

чинами и женщинами внутри одной родственной группы) или брак путем похищения невесты, были присущи всем народам на определенной стадии их развития (критический очерк творчества Мак-Леннана см.: [111, с. 80–88]).

Сравнительный метод активно применяли и другие сторонники эволюционизма в антропологии, в том числе Эдуард Тайлор, автор получившей широкую известность книги «Первобытная культура» (1871). В первой главе этого труда он подробно описал применяемые им приемы исследования. «Первым шагом при изучении цивилизации, — отмечал Тайлор, — должно быть расчленение ее на составные части и классифицирование этих последних» [108, с. 22]. Такими элементами, подлежащими классификации, он считал оружие, ткацкие изделия, мифы, обряды и т. д. Характерно, что Тайлор проводил аналогию между явлениями культуры и видами растений и животных, изучаемых натуралистами: «Для этнографа лук и стрела составляют вид, так же как и обычай сплющивания детских черепов или обычай счета десятками. Географическое распределение и переход этих явлений из одного района в другой должны быть изучаемы, подобно тому как натуралист изучает географическое размещение ботанических и зоологических видов. <...> Точно так же как каталог всех видов растений и животных известной местности дает нам представление о ее флоре и фауне, полный перечень явлений, составляющих общую принадлежность жизни известного народа, суммирует собою то целое, которое мы называем его культурой» [там же, с. 23].

Такое уподобление работы этнографа исследованию натуралиста, конечно, не случайно. Ученые XIX в. унаследовали естественно-научный подход к изучению общества у мыслителей эпохи Просвещения. Огюст Конт, создатель теории о «позитивной науке» как высшей стадии интеллектуального развития человечества, свободной от религиозных предрассудков и бесполезной метафизики (отсюда происходит и само понятие «позитивизм»), полагал, что предложенная им новая наука «социология» должна увенчать собой всю иерархию наук, начинавшуюся с самых «простых» дисциплин — математики и астрономии — и далее восходившую (через физику, химию и биологию) к самой сложной из всех науке об обществе. Последователь Конта Герберт Спенсер

систематически проводил в своем труде «Основания социологии» аналогию между биологическим и социальным организмами. Ориентация позитивистского обществознания на естественные науки проявлялась и в подражании их методам, включая индукцию и сравнение.

Но вернемся к работе Тайлора. Полученные описанным выше способом классификационные ряды не только свидетельствовали, по его мнению, о сходстве явлений культуры в разных частях света, но и служили эффективным средством контроля надежности источников этнографической информации (свидетельств путешественников, миссионеров и т. д.) [108, с. 21–25].

Стремясь к большей строгости используемых им методов, Тайлор впервые включил в процедуру сравнения количественные параметры. Так, изучив литературу о брачных обычаях и счете родства у 350 народов, он тщательно фиксировал количество известных случаев каждого явления и заносил все полученные данные в таблицы, а потом сравнивал получившиеся ряды на предмет обнаружения «сцеплений» (корреляций). Но уже современники заметили несколько недостатков в разработанном Тайлором сравнительном методе. В частности, Ф. Галтон указал на желательность информации о наличии родства между сравниваемыми племенами, ведь при происхождении их от общих предков просто могли копироваться одни и те же обычаи (так называемая «проблема Галтона»). А У. Флауэр отметил, что данный метод полностью зависит от эквивалентности единиц сравнения. Считать ли, например, «моногамию» у ведлов на Цейлоне и «моногамию» в Западной Европе, «монотеизм» в исламе и «монотеизм» пигмеев явлениями одного и того же порядка? (подробный разбор достоинств и недостатков сравнительного метода Тайлора см.: [112, с. 658–661; 111, с. 114–118]). С общей критикой эволюционизма и применяемого для построения универсальной схемы культурного развития сравнительного метода выступил в самом конце XIX в. Франц Боас [99].

Если историки права и антропологи привнесли сравнительный метод в изучение древнейшей истории человечества, то социологи, представители родившейся в XIX в. новой самостоятельной науки, применили тот же метод к исследованию современного

им общества. Родоначальники социологии Конт и Спенсер отводили сравнению важное место в своих трудах (о вкладе Г. Спенсера в развитие сравнительного метода см.: [112, с. 657–658]). Продолжатель той же позитивистской традиции и основатель французской социологической школы Эмиль Дюркгейм поднял сравнительный метод на еще большую высоту: он назвал его «единственно пригодным для социологии», а о самой этой науке выразился так: «Сравнительная социология не является особой отраслью социологии; это сама социология, поскольку она перестает быть описательной и стремится объяснять факты» [101, с. 511, 522].

Дюркгейм сформулировал также некоторые правила применения сравнительного метода в социологической науке. Целью сравнения ученый считал выяснение причин наблюдаемых явлений. Из четырех методов индукции, описанных Дж. С. Миллем (тезис английского философа о неприменимости этих методов в изучении общественной жизни Дюркгейм категорически отверг), он отдавал решительное предпочтение методу сопутствующих изменений, видя в нем «главное орудие социологических исследований» [там же, с. 517]. При этом Дюркгейм предостерегал против простого иллюстрирования гипотез при помощи более или менее многочисленных примеров: «Нужно сравнивать не изолированные изменения, — писал он, — но регулярно устанавливаемые и достаточно длинные ряды изменений, которые бы примыкали друг к другу возможно полнее. Потому что из изменений данного явления можно вывести закон лишь тогда, когда они ясно выражают процесс развития этого явления при данных обстоятельствах. А для этого нужно, чтобы между ними была такая же последовательность, как между различными моментами естественной эволюции, и чтобы, кроме того, представляемый ими процесс был достаточно продолжительным, чтобы его направление не оставляло сомнений» [там же, с. 519].

В приведенной цитате обращает на себя внимание явная ориентация на каноны естественных наук, по образу и подобию которых создавалась новая наука об обществе; отсюда и установка на выведение «законов», управляющих видимыми явлениями общественной жизни. Того же происхождения был и свойственный

социологической теории Дюркгейма эволюционизм. Поэтому, в частности, ученый рекомендовал «рассматривать сравниваемые общества в один и тот же период их развития», противопоставляя «молодые общества» тем, что находятся в состоянии упадка [там же, с. 522].

Таким образом, к концу XIX в. гуманитарные и социальные науки накопили уже немалый опыт практических сравнительных исследований, а также некоторый запас теоретических обобщений по поводу возможностей и ограничений применения сравнительного метода. Но среди этого моря компаративистики оставался один остров, обитатели которого не проявляли никакого интереса к господствующему направлению научной мысли. Таким «островом» была история, пережившая в XIX в. процесс профессионализации и институционализации.

Разумеется, в творчестве крупнейших историков XIX в., в частности, Леопольда фон Ранке, можно найти примеры сравнений (о сравнениях в работах Ранке см.: [77, с. 155–157]). Это понятно, поскольку, как уже говорилось выше, без сравнения не может обойтись никакое познание, а тем более научное. Но проблема состоит в том, что европейские историки XIX в. не придавали значения сравнению, не проводили его систематически и целенаправленно в исследованиях и не пытались, в отличие от своих коллег в других дисциплинах, выработать особый сравнительно-исторический метод. Известны случаи, когда влиятельные ученые прямо отвергали сравнительные приемы в истории, видя в них поверхностные аналогии, ведущие к сомнительным и недолговечным выводам<sup>1</sup>.

Наглядным свидетельством научных приоритетов профессионального сообщества историков могут служить учебники по методологии, которые стали появляться во второй половине XIX в. Один из ранних образцов подобного жанра — лекции Иоганна Густава Дройзена под названием «Энциклопедия и методология истории», читавшиеся еще в 1850-х гг., но опубликованные только

---

<sup>1</sup> Так, Георг фон Белов критиковал сравнительный метод, которому была обязана своим существованием отвергаемая им гипотеза о повсеместном распространении общинного землевладения (см.: [76, с. 152]).

в 1936 г. Основное место в разделе «Методика» этого курса отведено характеристике источников и критических приемов работы с ними, однако под рубрикой «Прагматическая интерпретация» бегло рассмотрена возможность умозаключения по аналогии, в духе того аналогического сравнения, которое рекомендовал еще Ф. Шиллер в конце XVIII в. В качестве примера Дройзен приводит исчезновение крестьянства в Англии, о котором (в гипотетическом случае отсутствия материалов) можно было бы судить по аналогии с аграрными отношениями в Мекленбурге, Бранденбурге и Померании, где помещики также уничтожили крестьянское сословие. «В этом случае, — заключает Дройзен, — компаративный метод, с помощью которого мы уясняем данное во фрагментах неизвестное, лежит как на ладони, так что простое изложение аналогий достаточно для доказательства верности этого тождества» [14, с. 243].

И в дальнейшем, вплоть до начала XX в., сравнительный метод не привлек к себе серьезного внимания немецких историков. В популярном учебнике Э. Бернгейма «Введение в историческую науку» (1905) сравнение охотно упоминается как необходимый прием в критике источников, но при этом автор прямо предостерегает против сравнительного метода в более широком смысле, указывая на опасность аналогий (тут Бернгейм ссылается на работы по сравнительной этнологии), которые часто приводят к ложным выводам [12, с. 51–54, 60].

В английских и французских пособиях по методологии истории сравнительному методу также не придавалось особого значения. Так, бóльшую часть опубликованного в 1886 г. лекционного курса оксфордского профессора Эдуарда Фримана «Методы изучения истории» занимает описание древних и средневековых источников, а о сравнительном методе там не сказано ни слова [22]. Между тем парадокс заключается в том, что ранее тот же историк издал цикл лекций под названием «Сравнительная политика» [110] (благодаря этому труду Фриман теперь считается одним из основоположников сравнительной политологии). Очевидно, научные интересы того или иного историка могли быть сколь угодно широкими, но в учебное пособие по предмету его основной специализации могли быть включены только такие методы, которые были признаны в то время профессиональным сообществом.

Аналогичный случай произошел в самом конце XIX в. с известным французским историком Шарлем-Виктором Ланглуа. В 1890 г. он опубликовал в главном британском историческом журнале (*The English Historical Review*) небольшую статью, в которой призвал своих коллег, английских и французских медиевистов, к сравнительному изучению средневековой истории их стран, разделенных Ла-Маншем [50]. Примечательно, что в то самое время, когда Ш.-В. Ланглуа пытался убедить историков в полезности сравнения, британские антропологи, как мы уже знаем, активно обсуждали предложенный Э. Тайлором *количественный метод* сравнительного анализа брачных обычаев разных народов. Контраст в отношении двух родственных дисциплин к компаративистике налицо. Но еще показательнее то, что когда восемь лет спустя Ланглуа вместе с Ш. Сеньобосом издал учебник «Введение в изучение истории» (1898), от его былого оптимизма в отношении сравнительного метода не осталось и следа.

Авторы этого учебника, быстро завоевавшего широкую популярность не только во Франции, но и за ее пределами, в том числе и в России, лишь однажды упоминают сравнительный метод (в связи с обсуждением проблемы анализа причин в истории), причем берут сам термин в кавычки. Сравнение параллельных рядов фактов с целью изучения эволюции какого-либо явления (обычая, института, верования, закона) и выяснения ее причины Ланглуа и Сеньобос называют «классическим приемом естественных наук», примененным к истории. Так, по их словам, возникли сравнительное языкознание, мифология и право. Упоминают ученые и о попытке повысить точность сравнения при помощи статистического метода и таблиц сходства, по-видимому намекая на опыты Э. Тайлора. Впрочем, авторы выражают сомнение в результативности данного метода. По их словам, «недостаток всех этих приемов заключается в том, что оперируют с отвлеченными понятиями, отчасти произвольными, и иногда даже пользуясь сопоставлениями слов, не зная совокупности условий, при которых совершались факты» [16, с. 259]. Иначе говоря, Ланглуа и Сеньобос упрекают приверженцев компаративистики в гуманитарных и социальных науках в том, что эти ученые игнорируют контекст и искусственно вырывают из него сравниваемые факты.

Что же касается более масштабных сравнений, при которых сопоставлению подвергаются не конкретные явления, а общества целиком, то такой способ исследования авторы учебника полностью отвергают: «Можно было бы изобрести более конкретный метод, — пишут они, — и сравнивать не отдельные ряды однородных фактов, а целые общества, со всеми совершающимися в них процессами, беря либо одно и то же общество в два различных момента его эволюции (Англия XVI и XIX вв.), либо эволюции нескольких обществ, современных одно другому (Англию и Францию), или различных эпох (Рим и Англия). Метод этот может приносить пользу в отрицательном смысле, для подтверждения того, что один факт не служит непременно следствием другого, потому что они не всегда встречаются в связи один с другим (например, эмансипация женщин и христианство). Но от него совсем нельзя ожидать положительных результатов, потому что существование двух фактов в нескольких рядах не указывает еще, служат ли они причиной один другого или являются только следствием одной и той же причины» [там же].

Как видим, к исходу XIX столетия позиция ведущих французских историков по отношению к сравнительному методу была столь же скептической, как и у их немецких коллег.

Описанное выше положение дел в исторической науке XIX в. можно рассматривать как прямое продолжение некоторых тенденций, обнаружившихся еще в эпоху Просвещения. Уже тогда, как было показано в предыдущей главе, обозначилась резкая грань между «философией истории» Вольтера и других просветителей, с одной стороны, и фактографической историей знатоков-эрудитов — с другой. Профессиональные историки XIX в., видевшие в «критическом методе» анализа источников главный залог научности своих занятий, выступали как прямые наследники эрудитов. А приемы сравнения вместе со стремлением к генерализациям перешли «по наследству» от философов XVIII в. к представителям образовавшихся в XIX столетии социальных наук — прежде всего социологии и антропологии.

Культ источников сочетался в мировоззрении историков с культом национального государства. Многим ученым существовавшие тогда политические границы представлялись естествен-

ными рамками написания истории, а прослеживание судеб «своего» государства от потерявшихся в глубокой древности «истоков» до современности казалось актуальной и благородной задачей. Так появились многотомные нарративы национальной истории вроде «Истории Франции» Ж. Мишле, «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева и «Истории прусской политики» И. Г. Дройзена. Национализм явно противостоял просветительской идее единства человеческого рода и его истории; он способствовал не столько сопоставлению исторического опыта разных стран, сколько возникновению представлений об особой миссии, особом пути (нем. *Sonderweg*) именно того народа, к которому принадлежал пишущий о нем историк.

Обе указанные тенденции действовали синхронно, создавая кумулятивный эффект, неблагоприятный для развития сравнительно-исторических исследований. Выработанная к середине XIX в. привычка писать историю по источникам (желательно архивным), подвергая их тщательной критической проверке, требовала многолетних кропотливых штудий, что крайне затрудняло (хотя, как показывает пример Л. фон Ранке, не исключало) расширение географических рамок исследования. Не случайно Ш.-В. Ланглау в упомянутой выше статье 1890 г., говоря о причинах, препятствовавших, по его мнению, распространению сравнительного метода в средневековой и новой истории, особо указывал на то, что лишь немногие ученые сумели в равной мере освоить историю не только своей собственной, но и соседних стран [50, с. 260–261]. Однако большинство историков не имело и стимула для подобных чрезвычайных усилий, поскольку господствующий националистический (патриотический) дискурс легитимировал ограничение исследовательских интересов рамками одной страны. Если к этому добавить преобладание политической истории со свойственным данному жанру вниманием к событийному ряду и деяниям великих государственных мужей, то становится ясно, что историографический контекст XIX в. не способствовал успеху сравнительного метода среди историков.

Сложившееся в XIX в. историческое мировоззрение позднее, в начале следующего столетия, получило обобщенное наименование «историзм». Родиной этого направления исторической мысли

принято считать Германию, но его приметы обнаруживаются и в других европейских странах, включая Россию. Суть историзма в одной из своих работ удачно выразил Леопольд фон Ранке (хотя он не употреблял самого этого термина). «Каждая эпоха, — писал знаменитый историк, — стоит в непосредственном отношении к Богу, и ее ценность основана вовсе не на том, что из нее выйдет, а на ее существовании, на ее собственном “я”» [9, с. 4].

Речь, таким образом, шла о признании самостоятельного значения и уникальности каждого периода, каждого явления в истории. Тем самым, по сути, ставился под сомнение эволюционизм, который стал в XIX в. «знаменем» не только естествознания, но и находившихся под его влиянием так называемых позитивных социальных наук. Именно в противостоянии с позитивизмом, который воспринимался как угроза проникновения в гуманитарные науки (нем. *Geisteswissenschaften*) «чуждых» им естественно-научных начал, и происходило становление историзма как своего рода профессиональной идеологии историков.

Теоретическое обоснование различий между естественно-научным методом и приемами исторического исследования было дано в работах философов-неокантианцев баденской школы (именуемой также фрайбургской по названию университета, в котором они преподавали) — Вильгельма Виндельбанда и Генриха Риккерта. Виндельбанд предложил классифицировать науки не по их предмету («природа» или «дух»), а по методу. Метод естественных наук он назвал *номотетическим*, т. е. буквально «устанавливающим законы», а метод наук о культуре, включая историю, — *идиографическим* (от греч. ἴδιος — особенный, своеобразный + γράφω — пишу), направленным на описание индивидуальных особенностей исторических фактов, выделяемых наукой в качестве «значимых» на основе процедуры «отнесения к ценности» (*Wertbeziehung*). В дальнейшем эти положения развил Г. Риккерт. Он пояснил, что основной водораздел между науками проходит по способу образования понятий: поскольку естественные науки преимущественно используют общие понятия, их метод является генерализирующим; историки же, имея дело с уникальными явлениями, нуждаются в индивидуализирующем методе. При этом философ подчеркивал, что данное различие в методах носит

логический характер и не зависит от природы изучаемых объектов. Так, например, психология, поскольку она применяет общие понятия, относится, как и физика, к генерализирующим наукам [19, с. 67, 69–70].

Сравнение Риккерт относил к методологии естественных наук: на примере ботаники он показывал, как при помощи сравнения выделяется существенное из многообразия природных форм [18, с. 151]. Но применительно к истории тот же методический прием он даже не рассматривал: с точки зрения идеалистической теории истории как науки о ценностях, лишенных каких-либо материальных форм, сравнение отдельных фактов просто не имело смысла.

Хотя Риккерт много писал о методологии естественных наук, едва ли его идеи как-то повлияли на развитие физики или биологии; впрочем, они явно не были адресованы натуралистам. Целью философов баденской школы было обоснование логической самостоятельности истории как науки, и в гуманитарной среде их теория нашла немало сторонников. Кроме того, деление наук на номотетические (генерализирующие) и идиографические (индивидуализирующие) провело «демаркационную линию» между историей и еще недавно составлявшими с ней одно целое социальными науками вроде социологии или антропологии. При этом неокантианцы, по сути, легитимировали фактически возникшие к тому времени различия научных целей и практик: социологи, наука которых была причислена к разряду номотетических, могли теперь с удвоенной энергией искать «законы», управляющие человеческим обществом, а историки, опираясь на авторитет Виндельбанда и Риккерта, имели все основания писать в привычном для себя духе, избегая широких обобщений. Граница между историей и другими науками об обществе, объявленная баденскими философами границей между разными методами, долгое время считалась таковой, и только в 60–70-х гг. XX в. у некоторых ученых стали появляться сомнения в ее методологическом характере.

Получив мощную поддержку со стороны неокантианцев, историзм в лице известного философа и теолога Эрнста Трёльча занял открыто враждебную позицию по отношению к сравнитель-

ному методу. В книге, изданной уже после Первой мировой войны («Историзм и его проблемы», 1922), Трёльч писал: «Освобождаясь от ориентации на человечество и на закон развития всего человечества, мы освобождаемся и от удушающего преобладания сравнения в истории, которое грозит нас одарить вместе с “историей искусств всех народов и времен” сравнительным искусством, вместе со сравнительной историей права сравнительным правом, вместе со “сравнительной социологией” сравнительным общественным устройством и т. д.» [20, с. 160]. Занимая позицию крайнего исторического индивидуализма, он выступал решительным противником подобных усредненных «сравнительных» понятий. Трёльч считал заблуждением мысль, будто абсолютную систему ценностей можно представить как сумму отдельных ценностей и изучить историю каждой из них отдельно. Столь же ошибочным ему казалось представление о том, «будто каждая отдельная ценность значима для всего человечества и поэтому может и должна быть прослежена в своем развитии, начиная от ботокудов и жителей Камчатки до парижанина и берлинца» [там же]. На самом же деле, по мнению немецкого философа, «система ценностей образует в каждой культурной сфере, несмотря на все напряжение между ценностями, внутреннее, взаимно определяющее жизненное единство, и каждая отдельная культурная ценность может быть понята только в связи с этим индивидуальным целым» [там же, с. 161]. Сравнение означало для него изъятие некой ценности из этого единства и помещение ее на основе сопоставления форм в разнообразные чуждые ей культурные сферы. «История не есть принципиально и систематически сравнительная дисциплина, как сравнительная анатомия или зоология», — резюмировал Трёльч [там же].

Впрочем, он был готов сделать исключение для одной формы сравнения, которую Вильгельм Дильтей ранее назвал индивидуализирующим сравнением (цит. по: [77, с. 155]). «Сравнение может помочь лучше понять своеобразие отдельных ценностей, — писал Трёльч, — и поэтому с полным основанием применимо в так называемых науках о духе; но в истории оно всегда остается только сравнением отдельных случаев, сопоставлением соприкасающихся, борющихся или с определенных точек зрения выхва-

ченных образований, которые никогда не следует отделять от их общей конкретной культурной основы» [20, с. 161].

Таким образом, хотя историзм стал серьезным препятствием для развития исторической компаративистики (по крайней мере, в Германии), он не смог полностью положить ей предел. Как оказалось, единственной ее формой, совместимой с историзмом, было индивидуализирующее сравнение, и именно это направление избрали для своих штудий крупнейшие немецкие компаративисты начала XX в. — Макс Вебер и Отто Хинце.

## УРОКИ МАКСА ВЕБЕРА И МАРКА БЛОКА

В первые десятилетия XX в. историческая компаративистика представляла собой ряд мало связанных друг с другом индивидуальных опытов, причем каждый следующий автор, обращавшийся к этой проблематике, считал своим долгом начать *ab ovo* и объяснить коллегам преимущества сравнительного метода.

Так, во Франции за тридцать лет, прошедших после публикации упомянутой выше статьи Ш.-В. Ланглуа (1890), вышло всего две работы, посвященные сравнительному методу в истории (здесь я опираюсь на наблюдения израильского историка Беньямина Кедара, которому принадлежит самый подробный на сегодняшний день обзор сравнительно-исторической литературы, изданной в течение XX в.). Первая из этих работ представляет собой публикацию вступительной лекции Гюстава Глотца к его курсу по древнегреческой истории в Сорбонне (1907). Подобно Ланглуа, Глотц с сожалением отметил, что историки редко используют сравнительный метод, несмотря на его значение для открытия «исторических законов» и на его вклад в успехи целого ряда наук. Он призывал отказать от сравнения великих событий в пользу тщательного изучения институтов, обычаев и юридических принципов различных обществ, целью которого должно было стать выявление некоторых законов, регулирующих социальную эволюцию. Глотц советовал сравнивать общества, родственные друг другу или находящиеся на одной и той же ступени развития (в этом пункте чувствуется влияние Э. Дюркгейма). Что же касается заполнения лагун в истории одного общества при помощи фактов, известных из истории другого, то к такой процедуре французский ученый рекомендовал относиться с величайшей осторожностью (цит. по: [48, с. 3]).

Известный философ Анри Берр приветствовал выступление Глотца, полагая, что в нем намечен путь к интеграции истории и социологии; он приветствовал пропаганду Глотцем сравнительного метода как способа эмпирического обнаружения законов, без каких-либо априорных идей (см.: [там же, с. 4]). Неудивительно, что через несколько лет в издаваемом Берром «Журнале исторического синтеза» появилась большая статья (по сути, целый трактат) на тему сравнения в истории, принадлежащая перу Луи Давийе. Впрочем, каких-то оригинальных идей в этом сочинении не было. Сначала Давийе подробно остановился на применении сравнительного метода в естественных и социальных науках, обильно цитируя О. Конта, Э. Дюркгейма, Г. Тарда, А. Пуанкаре и других знаменитых ученых, основную же часть его пространного труда занял анализ роли сравнения на разных этапах критики исторических источников [79]. В этом, однако, не было ничего нового: применение сравнения в различных источниковедческих процедурах подробно описал, например, Э. Бернгейм в упомянутом выше учебнике (что характерно, Давийе не ссылается ни на него, ни на других немецких историков). Но всю совокупность приемов, используемых при анализе источников, было принято тогда именовать не сравнительным, а критическим методом, или просто критикой, подразделявшейся на внешнюю и внутреннюю (см.: [16, с. 82–197; 12, с. 50 и след.]). Под сравнительным же методом в истории не без влияния социальных наук уже к концу XIX в. стали понимать сравнение обществ или их отдельных институтов. Именно в таком смысле понимали сравнение в истории Ш.-В. Ланглуа, Э. Бернгейм, Г. Глотц и другие крупные ученые того времени.

Если французские историки в начале XX столетия, судя по лекции Г. Глотца и статье Л. Давийе, трактовали сравнительный метод в позитивистском духе и даже (в случае Глотца) связывали с ним надежды на открытие неких законов эволюции общества, то их немецкие коллеги под влиянием господствовавшего в Германии историзма развивали совершенно иное направление компаративных исследований. Решающий вклад в его формирование внес выдающийся социолог и историк Макс Вебер (1864–1920).

О чем бы ни писал Вебер — о происхождении современного капитализма, мировых религиях, городе или типах легитимного

господства, — его в первую очередь интересовало своеобразие западной цивилизации. Почему именно на Западе возникли наука, искусство, промышленный капитализм — явления, получившие затем универсальное значение? — так ставит Вебер вопрос во введении к сборнику своих статей по социологии религии [118, с. 44–55]. Ключ к проблеме он видел в процессе рационализации, и поэтому прежде всего старался понять особый рационализм, характеризующий западную культуру [там же, с. 55]. Для решения этой задачи он прибегает к сравнению, сопоставляя взаимосвязь хозяйственной этики и религии в Европе и в странах Востока. При этом Вебер специально поясняет, что общего анализа различных культур он не дает: «В каждой культурной сфере подчеркивается только то, что находилось и находится в *противоречии* (здесь и далее курсив М. Вебера. — М. К.) с западным культурным развитием» [там же, с. 56]. Взгляд немецкого социолога европоцентричен, и он этого не скрывает. Аналогичным образом свое исследование города Вебер строит на контрасте между городами средневековой Европы и азиатскими городскими поселениями и приходит к выводу, что городом в полном смысле слова, т. е. городской общиной с особыми правами, был только европейский город [181, с. 323, 330].

Таким образом, основным приемом, которым пользовался Вебер в своих историко-социологических исследованиях, было контрастное, индивидуализирующее сравнение. Кроме того, важную роль в его построениях играет типология. Вебер вводит понятие «идеального типа», который представляет собой, по его словам, мысленный образ, «*утопию*, полученную посредством *мысленного* усиления определенных элементов действительности» [100, с. 389]. Это утопия в том смысле, что «[в] реальной действительности такой мысленный образ в его понятийной чистоте нигде эмпирически не обнаруживается <...>. Задача исторического исследования, — продолжает Вебер, — состоит в том, чтобы в каждом отдельном случае установить, насколько действительность близка такому мысленному образу или далека от него» [там же, с. 390]. Примерами таких идеальных конструкций у немецкого социолога выступают средневековое городское хозяйство, ремесло и абстрактный тип капиталистического хозяйства.

Вебер специально подчеркивал, что идеальные типы не являются ни изображением действительности, ни неким «образцом» в смысле высшего совершенства. Методологически важным представляется указание ученого на то, что «в образовании абстрактных идеальных типов следует видеть не цель, а *средство*» [там же, с. 392]. Целью же для Вебера оставалось постижение «*своеобразия явлений культуры*» [там же, с. 402], поэтому «идеальный тип» он рассматривал как «мысленную конструкцию для измерения и систематической характеристики *индивидуальных*, то есть значимых в своей единичности связей, таких, как христианство, капитализм и пр.» [там же, с. 400].

Известный немецкий историк Отто Хинце (1861–1940) также пользовался преимущественно индивидуализирующей формой сравнения и оставался в рамках европоцентричной картины мира. У Вебера он заимствовал и активно применял идеально-типическую теорию образования понятий.

Хинце заинтересовался сравнительной историей европейских политических институтов еще в конце XIX в. Перед Первой мировой войной вышло несколько его статей на эту тему, в том числе «Происхождение современных государственных министерств» (1908) и «Комиссар и его значение во всеобщей истории управления» (1910). В 1920-х гг. он работал над книгой по сравнительной институциональной истории (или, как ее называют в Германии, «конституционной истории», *Verfassungsgeschichte*), но она так и не вышла, а рукопись впоследствии пропала. Тем не менее опубликованные тогда статьи: «Сущность и распространение феодализма» (1929), «Типология [форм] сословного устройства Западной Европы» (1930), «Всемирно-исторические предпосылки представительной формы правления» (1931) и др. — оказали существенное влияние на последующее развитие исторической (и социологической) компаративистики и цитируются до сих пор.

В этих работах Хинце использует веберовское понятие «идеального типа». В качестве такой идеально-типической конструкции он рассматривает, в частности, феодализм. В статье, посвященной этому понятию, историк сначала на основе западноевропейского материала выделяет факторы, определившие само явление феодализма: 1) военный — появление обученного,

профессионального военного сословия, связанного клятвой с правителем и занимающего привилегированное положение; 2) социально-экономический — формирование землевладельческо-крестьянского типа хозяйства, обеспечивающего этому привилегированному военному сословию доход в виде ренты; 3) политический — господствующее положение военной знати на местах и ее определяющее влияние или даже самовластие в государстве [173, с. 94–95]. По мнению Хинце, в полном смысле о феодализме можно говорить только там, где присутствуют все три фактора, как это было в государствах-наследниках Каролингской империи, а не там, где можно найти лишь один из них или другой или даже только их зачатки [там же, с. 95–96]. Подобные зачатки, полагает ученый, обнаруживаются во все времена и у многих народов. Например, в древности земля раздавалась в награду за военную службу (подобное установление содержится, в частности, уже в законах Хаммурапи), но своеобразное соединение вассалитета и бенефиция и, прежде всего, порождающее сословия и знать действие франкских ленных отношений было древности абсолютно чуждо.

Сравнивая предложенную им модель западноевропейского феодализма с данными о социально-экономическом развитии и политическом устройстве обществ в других регионах мира, Хинце приходит к выводу, что лишь в трех из них обнаруживается наличие всех отмеченных выше факторов: это Московская Русь, исламские государства (прежде всего Турция) и Япония [там же, с. 99]. Но, признавая их типологическое сходство с феодализмом у франков, историк отмечает и серьезные особенности, присущие каждому из этих вариантов: в частности, русское поместье, как и арабская *икта*, в отличие от родственного им франкского феода, носили не рыцарский, а министеральный характер [там же, с. 110].

Выявление вариантов феодализма в разных странах, по мнению Хинце, позволяет понять суть процесса феодализации в целом: феодализм, утверждает ученый, не является результатом имманентного национального развития, он порождается «всемирно-исторической констелляцией, которая происходит только в сферах более великих культур» [там же, с. 100]. Иными словами, помимо соци-

ального процесса — перехода от племенной организации к государственной, — во всех рассмотренных случаях действовал и культурный фактор: контакт франков с умиравшей Римской империей, восточных славян — с Византией, турок — с державой Сасанидов, японцев — с великой китайской культурой. Таким образом, феодализм — и в этом состоит главный вывод исследования — был не повсеместным явлением, а, скорее, отклонением от «нормального» пути развития [там же, с. 101, 117–118].

Приемы типизации и индивидуализирующего сравнения Хинце применил также при изучении феномена сословного представительства. Рассмотрев это явление во всемирно-исторической перспективе, он пришел к выводу, что оно присуще только христианскому Западу. Возникновение представительных форм правления историк объяснял уникальным сочетанием нескольких факторов: европейского феодализма, влияния католической церкви (церковных соборов, богословской мысли) и особенностей формирования государств в Европе [150].

В особой статье Хинце постарался также объяснить генетически и географически сосуществование двух основных типов европейских сословно-представительных учреждений в Средние века и раннее Новое время: двухпалатных (как английский парламент) и трехпалатных (как французские Генеральные штаты): первый тип являлся более древним и возник на окраинах Каролингской империи, а второй сформировался позднее и был характерен прежде всего для территории бывшего ядра этой империи (Франция, Западная Германия) [149].

1920-е — начало 1930-х гг., когда Отто Хинце публиковал упомянутые выше статьи, стали временем роста сравнительно-исторических исследований по всей Европе. Оживление интереса к исторической компаративистике современные ученые справедливо связывают с влиянием Первой мировой войны [44, с. 2398]. Действительно, великая война 1914–1918 гг. наглядно показала взаимосвязанность тогдашнего мира. Стала также очевидной угроза, которую крайний национализм представляет для ценностей человеческой культуры, в том числе для академической науки.

Знаменитый бельгийский историк Анри Пиренн (1862–1935), депортированный в 1916 г. в Германию из Гента за неповиновение

окупационным властям, с досадой наблюдал, как его прежние коллеги, немецкие историки, принимали активное участие в пропагандистских кампаниях. После войны Пиренн стал убежденным сторонником преодоления узких рамок национальной истории и возвращения к всемирной перспективе, преобладавшей от античности до эпохи Просвещения; чтобы добиться этого и вернуть истории подлинно научный статус, свободный от подчинения интересам генералов и политиков, следовало прибегнуть, по мысли ученого, к сравнительному методу. Таков был лейтмотив приветственной речи под названием «О сравнительном методе в истории», с которой Пиренн обратился 9 апреля 1923 г. к участникам Пятого международного конгресса исторических наук в Брюсселе. «С помощью сравнения и только с помощью сравнения, — говорил он, — можем мы прийти к научному знанию. Мы никогда не достигнем его, если ограничим себя рамками национальной истории» (цит. по: [48, с. 4–5]).

В отличие от Макса Вебера, Отто Хинце или Марка Блока, о котором пойдет речь ниже, А. Пиренн не внес особого вклада в разработку сравнительно-исторического метода, а применение сравнения в его собственных работах подчас носило характер поверхностных аналогий<sup>1</sup>. И тем не менее, как справедливо отметил Б. Кедар [там же, с. 5], своим выступлением на конгрессе историков авторитетный бельгийский ученый сумел привлечь внимание

---

<sup>1</sup> Так, в книге «Средневековые города и возрождение торговли» (1925) Пиренн в доказательство своего тезиса об упадке Средиземноморья как результате арабского завоевания проводит параллель с последствиями набегов кочевников на Русь в XI в.: «Вторжение этих варваров вдоль берегов Каспийского и Черного морей несло те же самые последствия, какие принесло Западной Европе вторжение арабов на Средиземное море в VIII веке» [182, с. 46]. В обоих случаях вторжения перерезали рыночные связи, города запустели, население перешло к земледелию. «Таким образом, — резюмирует историк, — в обоих случаях одинаковые причины дали этот эффект в одно и то же время. Россия жила торговлей в то время, когда Каролингская империя знала только вотчинный строй, и Россия, наоборот, ввела эту форму правления, когда Западная Европа, получив новые рынки, порвала с ней. <...> Достаточно была на этот раз доказана, на примере России, теория, что хозяйство Каролингской эпохи не было результатом внутренней эволюции, а должно быть объяснено закрытием арабами Средиземного моря» [там же].

коллег к сравнительному методу и тем самым, несомненно, способствовал развитию компаративистских исследований. Во Франции речь Пиренна о пользе сравнения в истории получила немедленный отклик со стороны философа Анри Берра и экономического историка Анри Сэ; в самой Бельгии при активном участии последователя Пиренна Александра Экка в 1935 г. было основано Общество сравнительной истории институтов имени Жана Бодена (подробнее см.: [48, с. 5–6, 12]).

Первая мировая война не только подтолкнула историков к преодолению национальных рамок и более активному применению сравнительного метода, но и сделала актуальными самые широкие исторические параллели. Ее трагический опыт настоятельно требовал философского переосмысления всего предшествующего хода мировой истории. Такую попытку радикального пересмотра сложившихся представлений о прошлом предпринял Освальд Шпенглер в своей моментально ставшей знаменитой книге «Закат Европы» (1918–1922).

Шпенглер решительно порывает с привычной линейной перспективой истории и возвращается к моделям циклического развития, существовавшим еще в античности (например, у Полибия) и в эпоху Просвещения (в частности, у Вико) и вновь ставшим популярными на рубеже XIX–XX вв. (одну из версий такой циклической теории предложил, в частности, русский мыслитель Н. Я. Данилевский). Немецкий философ пытался также освободиться от сковывающих рамок европоцентризма: «Какое же значение, — задает он риторический вопрос, — могут иметь для нас понятия и перспективы, притязающие на универсальную значимость, но не простирающиеся своим горизонтом дальше духовной атмосферы западноевропейского человека?» [11, т. 1, с. 152–153]. Впрочем, действительно преодолеть европоцентризм ему не удалось: при всей своей эрудиции Шпенглер все же обладал лишь фрагментарными познаниями об истории неевропейских народов.

Подлинными действующими лицами истории автору «Заката Европы» представлялись культуры, каждая из которых обладала своей «душой», своим особым характером. Таких культур в общей сложности он насчитал восемь (египетская, вавилонская, китайская, индийская, античная, византийско-арабская, западно-

европейская и культура майя). Уподобляя культуры человеческого организму, Шпенглер полагал, что каждая из них проходит в своем развитии одни и те же стадии — от зарождения до упадка и гибели (этот последний этап философ отождествлял с цивилизацией). Заимствовав из биологии понятие *гомологии* (т. е. морфологической эквивалентности, в отличие от *аналогии* — сходства функций разных по происхождению органов), он прилагал его к изучению исторических явлений. Так, гомологичными образованиями Шпенглер называл античную пластику и западную инструментальную музыку, пирамиды IV династии и готические соборы, индийский буддизм и римский стоицизм, древнегреческое дионисийское движение и Ренессанс [там же, с. 270–271]. Отсюда он выводил понятие «одновременности» для обозначения явлений или людей, занимавших одинаковое положение и имевших соответствующее значение в своей культуре, и считал поэтому «современниками» Пифагора и Декарта, Архимеда и Гаусса, Поликлета и Баха [там же, с. 271]. Соответствие своей эпохе, эпохе «империализма» и мировой войны, Шпенглер находил в цивилизации Древнего Рима, вставшего на путь завоеваний, и на этом основании пророчил неизбежный закат западного мира [там же, т. 1, с. 170–173, 175, 199–200; т. 2, с. 456–464].

Шумный успех книги Шпенглера у широкой читательской публики контрастировал с явным неприятием ее в среде профессиональных историков. Так, Робин Дж. Коллингвуд критиковал труд немецкого философа за его явно позитивистский характер, натуралистический взгляд на историю, претензии на предсказание будущего, а также прямое искажение фактов [15, с. 174–175]. А его французский коллега Люсьен Февр, один из основателей школы «Анналов», с нескрываемой иронией писал о новом «пророке», «ловком и пленительном красноречивце», сумевшем угодить вкусам буржуазии в охваченной смятением послевоенной Германии [21, с. 73–78].

В том, что историки не проявили особого интереса к Шпенглеру и к предложенному им сравнительному («морфологическому») методу, можно было бы усмотреть высокомерную реакцию профессионалов, возмущенных вторжением дилетанта в их сферу компетенции. Но когда в 1934 г. вышли первые три тома

фундаментального труда Арнольда Дж. Тойнби «Изучение истории», развивавшего некоторые идеи Шпенглера, они также были встречены критически рядом его авторитетных коллег, но при этом удостоились более обстоятельного разбора.

Профессиональный историк, обладавший потрясающей эрудицией, Тойнби (1889–1975) предпринял масштабное сравнение всех когда-либо существовавших в истории цивилизаций, общее число которых, по его первоначальным подсчетам, составило 21; позднее в заключительном, двенадцатом, томе своего труда (1961) он сократил их количество до 13. Со Шпенглером Тойнби объединяет идея стадий, которые проходят в своем развитии цивилизации (генезис, рост, «надлом», распад), а также натуралистический принцип «одновременности» всех изучаемых обществ. Обосновывая возможность сравнения давно исчезнувших цивилизаций с ныне существующими, британский историк ссылаясь на биологическое понятие вида, устойчивого в нескольких поколениях. Поскольку в цепочках, соединявших современные цивилизации с предшествовавшими им обществами, насчитывалось не более трех звеньев (например: минойская — эллинская — западная, минойская — эллинская — православная и т. д.), Тойнби относил их все к одному и тому же виду. «Если возраст Человечества равняется приблизительно 300 тыс. лет, — писал он, — то возраст цивилизаций, отождествляемый до сих пор с длительностью человеческой истории, равен менее чем 2 % данного отрезка. На этой временной шкале жизни все выявленные нами цивилизации распределяются не более чем в три поколения обществ и сосредоточены в пределах менее пятой части времени всей жизни Человечества. С философской точки зрения жизнь их протекает в одно и то же время» [10, с. 86].

Сделав цивилизации единицами сравнительного анализа, Тойнби попытался установить причины их зарождения, роста и распада. В объяснении генезиса цивилизаций он активно пользовался предложенными им категориями «вызова и ответа» (*Challenge and Response*), имея в виду реакцию общества на неблагоприятную природную среду (суровый климат, скудную почву и т. д.) и враждебность соседей (нашествия, давление и т. д.). Все эти «вызовы» становились стимулами для развития соответству-

ющего общества [там же, с. 113–142]. Аналогичным образом для объяснения механизма роста цивилизаций Тойнби вводит понятия «ухода и возвращения» (*Withdrawal and Return*) [там же, с. 261 и след.].

Но все эти масштабные сравнения, смелые обобщения и эффектные метафоры не произвели впечатления на крупнейших историков того времени. Р. Дж. Коллингвуд, оценив «очень тонкую историческую интуицию» Тойнби, проявившуюся «в деталях» его труда, подверг критике «основные принципы» работы своего коллеги, увидев в ней «новое выражение исторического позитивизма» [15, с. 155]. «Вся схема его труда, — замечает Коллингвуд, — схема тщательно упорядоченных и классифицированных ящичков, в которых можно разместить готовые исторические факты» [там же, с. 156–157].

Люсьен Февр в своей рецензии (1936) на первые тома «Изучения истории» также упомянул «тщательно пронумерованные цивилизации». Его «приговор» этому труду был еще суровее, чем оценка, высказанная Коллингвудом. По поводу открытых Тойнби «законов» (вроде «вызова и ответа» или «ухода и возврата») Февр пишет: «И на сей раз мы, историки, должны сказать: это философская, а не историческая формула. <...> Мы не беремся ее обсуждать <...> здесь нам нечем поживиться, здесь нет ничего, относящегося к нашей работе, нашим заботам, нашим методам» [21, с. 90]. Неприемлемым для рецензента оказался и сравнительный метод Тойнби, причем само сравнение французский историк отнюдь не отвергает, его не устраивает только способ сравнения, избранный автором «Изучения истории»: «Давайте сравнивать, — призывает Февр. — Но сравнивать так, как подобает историкам. Не ради извращенного удовольствия повалиться в двадцати одной пустой скорлупе, а ради здорового и разумного постижения конкретных фактов, ради все более и более глубокого проникновения в те останки былых времен, которыми являются цивилизации. Давайте сравнивать — но не для того, чтобы из неудобоваримой мешанины китайских, индийских, русских и римских фактов извлечь в конце концов некие абстрактные понятия вроде Вселенской Церкви, Всемирного Государства или Варварских Вторжений. Давайте сравнивать, чтобы с полным знанием дела заменить

все эти нарицательные имена именами собственными» [там же, с. 93].

Таким образом, Февр провел границу между философским и профессионально-историческим познанием прошлого. По его мнению, историческое сравнение нужно не для вывода абстрактных законов, а для получения нового знания. Думается, именно завершенность систем, построенных Шпенглером и особенно Тойнби (вспомним употребленную Коллингвудом метафору «тщательно упорядоченных ящичков», в которые помещаются «готовые исторические факты»), в конечном счете обусловила тупиковый характер этой линии исторической компаративистики. Открытие «законов истории» делает в сущности ненужными дальнейшие эмпирические исследования, поэтому историки избегают слишком широких генерализирующих сравнений: здесь, по выражению Февра, им «нечем поживиться».

В последующие десятилетия отношение историков к сравнительному методу Тойнби не изменилось. В середине 1960-х гг., уже после выхода заключительного тома «Изучения истории», Теодор Шидер отметил, что автор этого труда, вырвав цивилизации из «потока исторического времени», превратил их в «квазиобъективные предметы исследования», наделенные некой «телесностью». «Когда культуры превращаются таким образом в сравнимые единицы, — продолжал немецкий историк, — они кажутся искусственно созданными в лабораторных условиях стерильными объектами, с которыми можно производить любые эксперименты. Их можно сравнивать как угодно и прежде всего обобщающим способом» [77, с. 162].

Еще четверть века спустя, в начале 1990-х гг., британский историк Питер Берк, упоминая знаменитый труд Тойнби в связи с проблемами сравнения в истории, подчеркнул свойственный ему редукционизм (чтобы сделать сравнение цивилизаций возможным, каждая из них была сведена к небольшому набору характеристик), а также нехватку адекватного понятийного аппарата для столь амбициозного замысла: изобретенные Тойнби категории («вызов и ответ», «уход и возврат», «внешний пролетариат» и др.) были недостаточны для выполнения поставленной им грандиозной задачи [73, с. 27].

Но вернемся мысленно в период между двумя мировыми войнами, когда наряду с парадигмой индивидуализирующего сравнения, намеченной в трудах Макса Вебера и Отто Хинце, и предельно широкими сравнениями культур и цивилизаций, ассоциируемыми с именами О. Шпенглера и А. Тойнби, была предложена еще одна программа компаративных исследований в истории: ее создателем стал великий французский историк Марк Блок (1886–1944).

В августе 1928 г. Блок выступил на VI Международном конгрессе исторических наук в Осло с докладом «К сравнительной истории европейских обществ», который в том же году был опубликован в виде статьи в «Журнале исторического синтеза». Этой работе суждено было стать самым цитируемым текстом исторической компаративистики.

Подобно А. Пиренну, а еще ранее Г. Глотцу и Ш.-В. Ланглуа, М. Блок начинает свою статью с похвалы сравнительному методу: его «обобщение и совершенствование» он называет «одной из самых насущных задач, которые стоят сегодня перед исторической наукой» [32, с. 65]. Эти постоянно повторяющиеся с конца XIX в. призывы к коллегам-историкам обратить внимание на сравнительный метод сами по себе показательны: они свидетельствуют и об ощущаемой частью профессионального сообщества потребности в систематическом применении сравнения в своей работе, и о недоверии большинства историков компаративным приемам анализа. Блок прямо пишет об этом недоверии в цитируемой статье, объясняя его склонностью своих коллег видеть в «сравнительной истории» нечто далекое от их практики исследований — один из разделов философии истории или общей социологии. Он стремится убедить их в обратном — в том, что сравнительный метод — это удобный в использовании «рабочий инструмент <...> способный приносить положительные результаты». По убеждению Блока, данный метод «может и должен проникнуть во все частные исследования. В этом залог его будущего, а быть может, и будущего нашей науки» [там же]. В своем докладе, а затем в написанной на его основе статье ученый стремился «уточнить саму природу и возможности применения этого отличного орудия труда, показать на ряде примеров, какой помощи мы вправе

от него ждать, и наконец, обозначить некоторые практические способы облегчить его использование» [там же].

В приведенных словах Блока обращает на себя внимание акцент на *практическом* применении сравнительного метода, на том, что в изданной посмертно книге, ставшей своего рода завещанием ученого, он назвал *ремеслом историка* [13]. Думается, именно в этой интонации, интонации собрата по цеху, который дает коллегам *практические* советы по использованию «удобного рабочего инструмента» — сравнительного метода — и приводит убедительные примеры из собственного исследовательского опыта, заключается во многом секрет успеха статьи «К сравнительной истории европейских обществ» у последующих поколений историков.

Комментаторы не раз отмечали влияние социальных наук, особенно социологии Э. Дюркгейма и исторической лингвистики Антуана Мейе, на выработку Блоком его сравнительного метода [81; 86; 73, с. 24; 44, с. 2398]. Действительно, французский историк в своей статье неоднократно ссылается на работы А. Мейе [32, с. 76, 83, 89, 91, 93], особенно на книгу «Сравнительный метод в исторической лингвистике» (1925), откуда, по словам Блока, он заимствовал «общую идею <...> о двух формах сравнительного метода» [там же, с. 89, примеч. 3]. А процитированные выше его слова о том, что от внедрения сравнительного метода в конкретные исследования, возможно, зависит будущее исторической науки, прямо перекликаются (как заметил Л. Уокер: [86, с. 155, примеч. 8]) с заключительной фразой книги Мейе<sup>2</sup>.

Однако при ближайшем рассмотрении зависимость выработанной Блоком методики исторического сравнения от лингвистики и других гуманитарных и социальных наук оказывается больше декларативной, чем реальной. Как показали Алетт и Бойд Хиллы [81, с. 832–834, 837], Блок отнюдь не следовал лингвистической модели сравнения, предложенной А. Мейе; в частности, он не придавал особого значения принципу единства происхождения

---

<sup>2</sup> Указывая на необходимость систематических исследований, включая изучение французских говоров, судьбы английского языка в различных странах, языков Кавказа и т. д., Мейе писал: «От этих обследований и от точности, с какой они будут производиться, зависит будущее языкознания» [104, с. 93].

сравниваемых обществ, в то время как Мейе считал генетическую связь изучаемых языков неременным условием успеха сравнительного анализа [104, с. 13, 14].

Еще труднее отыскать в статье «К сравнительной истории европейских обществ» следы влияния Э. Дюркгейма. Конечно, невозможно отрицать тот факт, что труды мэтра французской социологической школы наложили отпечаток на понимание Блоком социальной истории именно как истории обществ, а не индивидов. Но предложенные им приемы исторического сравнения не имели ничего общего с методическими указаниями Дюркгейма: в отличие от знаменитого социолога Блок вовсе не рассматривал сравнение как способ познания неких законов развития общества, не привлек его внимания и рекомендованный Дюркгеймом метод «сопутствующих изменений». Тем не менее впечатление, будто Блок создавал сравнительный метод «с чистого листа», обманчиво: на самом деле он, как справедливо отметил Б. Кедар, развил и обобщил предложения и наблюдения, уже высказанные ранее рядом историков: Ш.-В. Ланглуа, Л. Давийе, А. Сэ, А. Пиренном, — имена которых Блок перечисляет в кратком примечании к своей статье [32, с. 89, примеч. 2; 48, с. 7].

Таким образом, отношение Блока к социальным наукам оказывается амбивалентным: он ставил в пример успехи исторической лингвистики, достигнутые при помощи сравнительного метода, охотно цитировал А. Мейе, а также британского антрополога Джеймса Фрэзера [32, с. 67–68], но, приступая к выработке *практических* рекомендаций по применению сравнения в истории, ученый руководствовался не какой-либо готовой теорией, а прежде всего опытом собственных исследований и опытом своих коллег-историков.

Посмотрим теперь, каковы эти рекомендации Блока будущим компаративистам. В первую очередь он счел необходимым уточнить само понятие «сравнительной истории». По мнению ученого, для сравнения в историческом контексте необходимы два условия: «известное подобие наблюдаемых фактов (это само собой разумеется) и известное несходство среды, в которой они возникли». Поясняя второе условие, он приводит пример: «...если я изучаю сеньориальный уклад в Лимузене, мне придется постоянно сличать

различные сведения о тех или иных сеньориях; в обычном смысле слова я буду их сравнивать. Однако у меня не будет ощущения, что я занимаюсь тем, что на языке нашей специальности называется сравнительной историей, ибо разные объекты моего изучения будут принадлежать к отдельным частям одного и того же общества, которое, будучи взято в целом, представляет собой самостоятельную крупную единицу» [32, с. 66]. «На практике название “сравнительная история”, — продолжает Блок, — закрепилось почти исключительно за сличением явлений, существовавших по разные стороны государственной или национальной границы» [там же]. Однако такое понимание термина он считает слишком прямолинейным и упрощенным: «Остановимся пока на другом, более гибком и в то же время более точном понятии: различие среды» [там же].

Критерий различия среды представляется мне самым лучшим из всех сформулированных до сих пор требований к выбору объектов исторического сравнения. А предостережение Блока против отождествления компаративистики исключительно со сравнением национальных государств звучит особо актуально в свете полемики, которую сторонники транснациональной истории и других современных направлений исследований ведут против устаревшей (по их мнению) «сравнительной истории» (подробнее см. ниже, гл. 5).

Вслед за своими предшественниками<sup>3</sup> Блок различает две формы исторического сравнения. Одна из них — это сравнение столь далеко отстоящих друг от друга во времени и пространстве обществ, что обнаруживаемые в них аналогичные явления нельзя объяснить ни взаимным влиянием, ни общностью происхождения; именно такие сравнения практикуют этнографы (следует ссылка на знаменитую «Золотую ветвь» Дж. Фрэзера). Блок не отрицает полезности подобного «сравнительного метода дальнего действия», представляющего собой «прием интерполяции кривых»: с его помощью можно, в частности, заполнять некоторые лакуны в источниках, прибегая к гипотезам, основанным на аналогии,

---

<sup>3</sup> Блок предпочитает ссылаться на Антуана Мейе, но то же противопоставление этих форм сравнения содержалось в известной ему статье Ш.-В. Ланглуа 1890 г. [50, с. 260–261].

а также формулировать новые направления исследования и объяснять пережитки древних обычаев. Тем не менее ученый отдает решительное предпочтение другому типу сравнения — «параллельному изучению соседних и современных друг другу обществ, бесконечно влияющих друг на друга». Аргументы Блока в пользу преимущества параллельного сравнения стоит привести полностью: «...из двух типов сравнительного метода, — полагает ученый, — более научно плодотворным будет тот, чьи масштабы более ограничены. Он позволяет строже классифицировать факты и критичнее подходить к их сопоставлению, а значит, от него можно ждать гораздо менее предположительных и одновременно более точных выводов» [32, с. 68]. Характеристика познавательных возможностей такого типа сравнения на материале, главным образом, Западной и Центральной Европы и составила основное содержание анализируемой нами статьи.

Блок выделил несколько полезных функций сравнения близких друг другу во времени и пространстве обществ. Во-первых, такое сравнение позволяет обнаружить ранее неизвестные явления (в современной компаративистике эту функцию принято называть эвристической: [44, с. 2400; 49, с. 3]). Какие открытия позволяет сделать сравнительный метод, Блок продемонстрировал на примере аграрной истории Франции, которой он как раз в те годы занимался: тщательно изучив огораживания в сельском хозяйстве Англии XVI — начала XIX в., где они хорошо документированы, ученый попытался найти нечто подобное во Франции и действительно обнаружил в Провансе XV–XVII вв. процессы, сходные по сути с английскими огораживаниями, но имевшие при этом ряд особенностей. Это открытие, ставшее неожиданностью для историков Прованса, кардинально изменило представления о социально-экономическом развитии данного региона Франции.

Во-вторых, сравнение пограничных социумов позволяет выявить, по словам Блока, «токи заимствований, связующие средневековые общества и до сих пор недостаточно изученные» [32, с. 71]. В качестве рабочей гипотезы ученый выдвинул и обосновал предположение о вероятном влиянии вестготской Испании на монархию Каролингов — как в том, что касается формирования идеи королевской власти, так и в области канонического права.

К этому примеру, приведенному Блоком в статье 1928 г., можно добавить еще один, взятый также из творчества знаменитого французского историка. В новаторской книге «Короли-чудотворцы» (1924) ученый тщательно изучил обряд исцеления золотушных, совершавшийся французскими и английскими монархами вплоть до начала Нового времени, и пришел к выводу, что этот обряд и связанные с ним представления об особом целительном даре, присущем помазанникам Божиим, возникли сначала во Франции около 1000 г., а примерно столетие спустя тот же чудесный дар по примеру Капетингов присвоили себе английские короли<sup>4</sup> [142, с. 159–161].

Вообще знакомство с книгой о «королевском чуде» помогает понять, как Блок вырабатывал приемы сравнительного анализа, которые он рекомендовал своим коллегам в 1928 г. В анализируемой статье он особо подчеркивает важную роль сравнения в поиске причин исторических явлений и прежде всего — в устранении мнимых причин и ложных объяснений. В качестве примера ученый указал на проблему происхождения представительных учреждений в Европе (штатов, кортесов, парламентов и т. д.), которую невозможно решить, оставаясь в тесных рамках истории отдельных регионов или даже стран. Запутавшись в «лабиринте мелких локальных фактов», историк рискует придать им значение, которого они не имели, и упустить из виду главное. «Ибо явление общее, — продолжает Блок, — может иметь причины лишь общего порядка; а явление, которое я, сохраняя французское его название, именую формированием штатов — это как раз явление общеевропейского масштаба» [32, с. 74]. Сравнительный метод, по мнению ученого, «мог бы научить большей осмотрительности историков, чересчур склонных объяснять общественные трансформации одними лишь локальными причинами» [там же, с. 75].

---

<sup>4</sup> Современные историки склоняются к более поздним датировкам, полагая, что первое надежное свидетельство об исцелении золотушных французским королем (Людовиком VI) относится к XII в., а английским — к 1276 г. (см. предисловие Ж. Ле Гоффа к переизданию «Королей-чудотворцев» 1983 г.: [142, с. 29]), но остальные выводы М. Блока сомнению не подвергаются, а сам его труд уже давно обрел статус классического исторического исследования.

Иными словами (развивая мысль Блока), можно сказать, что еще одна полезная функция сравнения заключается в том, что с его помощью можно определить истинный масштаб изучаемого явления, а следовательно, лучше понять причины его возникновения. В книге о королях-чудотворцах Блок точно следовал этому принципу, сформулированному им затем в статье 1928 г. Описав возникновение обряда исцеления золотушных во Франции, историк не спешит переходить к объяснению его происхождения: «...сейчас еще не время производить эти разыскания, — говорит Блок. — Дело в том, что феномен королевского чуда принадлежит Англии в такой же мере, что и Франции; изучая его происхождение, нельзя уделять внимание лишь одной из этих стран, пренебрегая другой» [142, с. 109].

Наконец, Блок считал, что правильное понимание сравнительного метода предполагает не только поиски сходства, но и выяснение различий; по его словам, «задача сравнительной истории — показать “оригинальность” различных типов общества» [32, с. 76]. Речь шла, таким образом, об индивидуализирующей функции сравнения. В своей статье историк разоблачил, в частности, псевдоподобие крепостной зависимости в Англии XIII–XV вв. (*villainage*) и французского серважа, показав принципиальные отличия между этими средневековыми институтами.

Блок и в дальнейшем продолжал размышлять над возможностями сравнительного метода в истории. В январе 1930 г. он выступил с проектом статьи под названием «Сравнение» для планировавшегося тогда «Исторического словаря»; в том же году этот текст был опубликован в «Бюллетене Международного центра синтеза» (приложении к издававшемуся Анри Берром «Журналу исторического синтеза»). Упомянутая публикация остается малоизвестной (на нее справедливо обратил внимание Б. Кедар: [48, с. 9, примеч. 23]), а ведь, по сути, она является последним развернутым выступлением ученого по проблемам исторического сравнения. В этом наброске словарной статьи Блок прежде всего вернулся к вопросам терминологии: он, в частности, проводит грань между сравнением — мыслительной операцией, являющейся, по его словам, «одновременно необходимой (*essentielle*) и банальной», — и порождаемым ею «методом очень точного применения

в гуманитарных науках» — сравнительным методом [38, с. 32]. Ученый вновь подчеркнул конвенциональный характер понятия «сравнительная история», отметив, что, сличая акты, вышедшие из одной канцелярии, или изучая одновременно развитие множества предприятий в рамках истории французской промышленности, он совершает умственную операцию, которая в современном языке называется сравнением; «однако ни один историк, — замечает Блок, — не будет говорить в этой связи о сравнительной истории» [там же, с. 34]. Основное же место в статье заняло описание результатов применения сравнительного метода. Таких полезных эффектов сравнения в истории Блок насчитал пять, извинившись перед читателем за несколько схоластический характер подобного перечисления. Во-первых, это «предложения для исследования» (сейчас бы сказали: «формирование повестки дня»): если в одном обществе некие явления из-за состояния источников или по другим причинам прямо бросаются в глаза, а в иной социальной среде они, даже играя значительную роль, менее заметны, то сравнение подталкивает к их обнаружению. Во-вторых, объяснение пережитков путем «экстраполяции кривых»: здесь Блок ссылается на Фрэзера и других этнографов, сравнивавших удаленные друг от друга общества. Третий эффект, или полезная функция, сравнения — изучение влияний; четвертый — «филиация», т. е. прослеживание преемственности техник в сельском хозяйстве, обрядов и т. д. Наконец, на пятое место в этом перечне ученый поставил «сходства и различия развития», а также «поиск причин» [там же, с. 38].

Таким образом, в лице Марка Блока мы видим одного из первых историков-компаративистов, который систематически применял сравнение в своих исследованиях и стремился к выработке строгого сравнительного метода. Сравнение присутствует во всех монографиях, написанных в зрелый период творчества великого историка. О «Королях-чудотворцах» уже шла речь выше. В следующей книге, посвященной, казалось бы, истории одной страны («Характерные черты французской аграрной истории», 1931), ученый также не смог обойтись без сравнения. Во введении к этому труду Блок писал: «Как уловить особенности развития, присущие отдельным районам, не бросив сначала взгляд на Францию

в целом? Французское развитие в свою очередь приобретает свой истинный смысл только в том случае, если рассматривать его в общеевропейском плане. Речь идет не о насильственном отождествлении, а напротив — о различении; не о том, чтобы создать, как это получается при совмещении фотоснимков, искаженное общее изображение, условное и туманное, но о том, чтобы выявить путем противопоставления как общие черты, так и особенности. Таким образом, настоящий очерк, посвященный одной из сторон нашей национальной истории, связан также и с теми сравнительными исследованиями, которые я старался осуществить в другом месте» [130, с. 30–31].

Важную роль играет сравнение и в последнем крупном труде, опубликованном при жизни Блока, — книге «Феодальное общество» (1939–1940). Сопоставив социальные институты многих средневековых стран, ученый выделил главные черты европейского феодализма [160, с. 431–434]. Но построенная общая модель вовсе не заслоняла от взора ученого региональных различий: на мысленной карте феодальной Европы он отметил центральное ядро (область между Луарой и Рейном), а также периферию, где черты феодального строя были слабо выражены или отсутствовали вовсе [там же, с. 434]. Во всемирно-исторической перспективе Блок вслед за Вольтером считал феодализм явлением, распространенным повсеместно; в частности, он полагал, что Япония также прошла феодальную стадию в своем развитии [там же, с. 436].

В целом, как видно из материала, приведенного в данной главе, межвоенный период стал важным этапом в развитии исторической компаративистики. В 1920–1930-х гг. увидели свет труды Отто Хинце, Марка Блока, Арнольда Тойнби, продемонстрировавшие возможности разных масштабов и форм сравнения. Кроме того, в работах Блока впервые было дано развернутое обоснование сравнительного метода в истории, что впоследствии дало Х.-Г. Хаупту основания утверждать, что в качестве «методического инструмента» подробно разработанное теоретическое сравнение существует только начиная с 1930-х гг. [44, с. 2397].

## ПОДЪЕМ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

Волна интереса к сравнительно-историческим исследованиям, возникшая после окончания Первой мировой войны, достигла пика на рубеже 1920–1930-х гг. и вскоре пошла на спад. Новый подъем исторической компаративистики начался лишь через несколько десятилетий, в конце 1950-х гг.

Временной промежуток, отделяющий эту новую волну от 1945 г., свидетельствует о том, что Вторая мировая война (в отличие от Первой) не стала непосредственным толчком к росту сравнительных исследований в истории. Скорее, очередной подъем компаративистики был связан с теми мировыми тенденциями, которые получили развитие вскоре после окончания войны под влиянием ее итогов. Эти тенденции на языке нашего времени можно назвать глобализацией. Историки 1950–1960-х гг. еще не использовали этого термина, но они прекрасно осознавали связь между возросшим интересом к сравнительным исследованиям и переменами, происходившими в окружавшем их мире.

Так, профессор Чикагского университета Сильвия Трапп, основательница нового журнала «Сравнительные исследования общества и истории», появление которого в 1958 г. само стало важной вехой в истории компаративистики, в редакторском предисловии к первому номеру этого издания писала: «Сегодня происходит возрождение интереса к сравнительному методу, что является велением времени. Не теряя чувства национальности, мы обрели чувство принадлежности к человечеству. Этноцентризм стал поводом для упреков. Даже наука не свободна от критики в этом отношении, ибо, как отмечали многие авторитетные уче-

ные, каким образом люди, изучающие только свою страну, могут понять, что в ней действительно уникально?» [52, с. 1].

Комментируя эти слова С. Трапп, немецкий историк Теодор Шидер в середине 1960-х гг. пришел к следующему выводу: «...обращение к сравнительному исследованию представляет собою симптом, обнаруживающий волю к преодолению национальных границ также и в области истории, которая наряду с научно-познавательным содержанием всегда действенно выражала и политические интересы, ранее в рамках научной традиции, определяемой потребностями национального государства, сегодня — в рамках традиции более или менее универсальной» [77, с. 143]. Заслуживает внимания также мысль Шидера о том, что «громадный рост научной информации перерос все национальные границы. Хотя сам по себе этот факт и не может полностью преодолеть национальную структуру исторической науки и историографии, как и национально-государственные элементы политики, однако он породил мощное движение, у истоков которого мы находимся» [там же, с. 144].

Современные ученые среди факторов, благоприятствовавших развитию сравнительных исследований в послевоенные десятилетия, называют различные эффекты глобализации (включая рост международных контактов, увеличение числа учащихся и работающих за рубежом, сложное переплетение интересов разных государств и т. д.: [29, с. 7–8]), а также процесс деколонизации, усиливший потребность, по выражению Нэнси Грин, «в менее этноцентричной истории» [171, с. 1336].

Изменилась не только политическая и экономическая обстановка, в которой жили и работали ученые, но и сама академическая среда: благодаря грантам, стипендиям, «гостевым» профессурам заниматься историей в сравнительной перспективе стало значительно проще (понятно, что речь здесь идет, главным образом, об историках Западной Европы и США: для советских ученых эти «блага» стали доступны лишь с конца 1980-х — начала 1990-х гг.). Кроме того, возросли контакты историков с другими социальными науками (в частности, социологией и антропологией), которые уже давно активно практиковали сравнительные исследования [47, с. 304; 33, с. 78].

Но решающее значение для успеха исторической компаративистики имели перемены в самой нашей науке. После Второй мировой войны позиции традиционной политической истории, тяготевшей к национальному нарративу, были серьезно потеснены новыми направлениями вроде экономической и социальной истории, еще со времен Марка Блока проявлявшими интерес к широкой сравнительной перспективе. Изменилась и тематика исследований: как отмечает Хартмут Кэлбле, в последние десятилетия на «повестку дня» вышло изучение исторических преобразований — демократизации, индустриализации, изменения менталитета, ценностей и идентичностей, и в связи с этими новыми проблемами ученые ощутили необходимость в сравнении процессов фундаментальных исторических перемен [29, с. 9].

Действительно, в отличие от предыдущих «волн» исторической компаративистики, ее новый подъем, начавшийся в конце 1950-х гг., сопровождался интересом к сравнению не событий или структур, а именно процессов. Раньше всего эта тенденция проявилась в области экономической истории.

В 1958 г. Фриц Редлих, специалист по истории германского и американского предпринимательства, опубликовал статью, в которой высказался в пользу развития сравнительно-исторических исследований; он особенно рекомендовал историкам сравнивать не факты, а процессы, и дал несколько рекомендаций на этот счет<sup>1</sup>. Выдвинутую Редлихом программу развития «сравнительной историографии» (в ряде пунктов разительно напоминающую, как заметил Б. Кедар, статью М. Блока 1928 г., с которой американский историк, очевидно, не был знаком: [48, с. 14]), как и появление упомянутого выше журнала «Сравнительные исследования общества и истории», первый номер которого вышел почти одновременно со статьей Редлиха, стоит рассматривать в контексте зарождавшегося во второй половине 1950-х гг. среди американских экономических историков компаративистского движения.

---

<sup>1</sup> Поскольку статья Ф. Редлиха, к сожалению, осталась для меня недоступной, я основываюсь на тех выдержках из нее, которые приводит в своем обзоре исторической компаративистики XX в. Б. Кедар (см.: [48, с. 14–15]).

В том же ряду находится и специальная сессия, которую американская Ассоциация экономической истории на своей ежегодной конференции в 1957 г. посвятила проблемам сравнения (обзор состоявшейся дискуссии см.: [135]). Выступая на этом форуме, Сильвия Трапп сделала акцент на «продуманном интенсивном сравнении» (*deliberate intensive comparison*), с помощью которого, по ее мнению, можно решить главную задачу экономической истории — построить общую теорию экономического роста [140, с. 555, 567, 570]. Своего рода ответом на этот призыв стала книга профессора Массачусетского технологического института (MIT) Уолта Росту «Стадии экономического роста» (1960), быстро завоевавшая мировую известность.

Росту предложил разбить историю каждой национальной экономики на пять стадий: традиционное общество, предварительные условия (*preconditions*) для «взлета», «взлет» (*take-off*), период зрелости и, наконец, эпоха высокого массового потребления. К традиционным обществам ученый отнес все экономики прошлого, где существовал потолок уровня достижимого объема производства на душу населения, обусловленный недоступностью современного<sup>2</sup> научного и технологического потенциала. Вторая стадия (предварительные условия для роста) была достигнута странами Западной Европы в конце XVII — начале XVIII в., когда научные открытия стали конвертироваться в новые производственные функции в сельском хозяйстве и промышленности. Англии первой удалось пройти третью стадию — собственно «взлета» (промышленной революции), которую Росту датирует 1783–1802 гг., а остальные крупные страны Европы, Америки и Азии следовали за ней с отставанием от полувека (как Франция или Бельгия) до полутора веков и более (как Китай или Индия). В XX в. лидер сменился: США первыми (уже в 1901–1916 гг.) достигли стадии массового потребления.

Хотя в своей работе Росту порой прибегает к сравнениям (например, он проводит параллели между экономическим развитием Швеции и Японии в XIX в., России и США в XX столетии,

---

<sup>2</sup> Рубежом здесь для Росту служат открытия Исаака Ньютона: традиционные общества он называет «доньютоновым миром» [139, с. 5].

а также, стараясь понять, почему Англия первой достигла стадии неограниченного экономического роста, сравнивает ее развитие накануне «взлета» с Голландией и Францией: [139, с. 31–35, 63–64, 93–105]), но сравнительный метод не является главным «двигателем» его исследования. По сути, Ростоу втискивает в свою модель несколько веков мировой истории, не очень беспокоясь о том, насколько отдельные «кейсы» соответствуют его довольно простой и жесткой схеме. Словно участники неких спортивных соревнований, все экономики, согласно теории американского ученого, проходят одни и те же стадии развития, и «отстающие» ведут гонку за «лидерами».

Помимо бросающегося в глаза редукционизма, этой схеме присущи и другие серьезные недостатки: она явно ориентирована на Западную Европу и США; к странам Азии или Африки описанные Ростоу «стадии» неприменимы. Современные исследователи полагают, что промышленная революция нигде, даже в Англии, не была столь быстротечной, как ее изобразил знаменитый американский экономист (к этому вопросу мы вернемся в третьей части книги). Наконец, историку доиндустриальной эпохи работа Ростоу вообще не предлагает никакого ориентира, поскольку и китайские династии, и цивилизацию Средиземноморья, и средневековую Европу, и многие другие культуры он помещает в общую категорию «традиционных обществ», прямо объясняя читателю: «...мы ведь просто расчищаем путь, чтобы добраться до предмета этой книги, т. е. посттрадиционных обществ» [там же, с. 5]. Тем не менее благодаря своей простоте и ясности теория стадий экономического роста Ростоу оказала несомненное влияние на разнообразные теории модернизации, получившие распространение в 60–70-х гг. XX в.

Возможности более плодотворного использования сравнения в экономической истории продемонстрировал в те же годы другой американский ученый, профессор Гарвардского университета Александр Гершенкрон (1904–1978). Славу ему принесла книга «Экономическая отсталость в исторической перспективе» (1962) — сборник статей, объединивший исследования, публиковавшиеся с начала 1950-х гг. Сильная сторона подхода, применяемого Гершенкроном к изучению истории индустриализации в Европе, заключается в выявлении особенностей, присущих

разным странам, переживавшим в то или иное время этот процесс. По словам автора, «промышленная история Европы понимается как единая, но дифференцированная модель» (*unified and yet graduated pattern*) [132, с. 1]. Таким образом, в его книге нет и намека на схематизм, столь характерный для концепции У. Ростоу. Модель Гершенкрона оказалась достаточно гибкой, чтобы вместить многообразие эмпирического материала; при этом был сделан ряд новаторских выводов.

Исследователю удалось показать, что индустриализация в относительно отсталых странах имела ряд принципиальных отличий от Англии, выступавшей в роли «пионера» промышленной революции: как правило, эти страны демонстрировали более высокие темпы экономического роста, они делали ставку на самую передовую технику и крупные предприятия, а главное — для стимулирования развития промышленности использовались иные институциональные инструменты, чем на «родине» промышленного капитализма. Так, во Франции, Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии очень большую роль в финансировании промышленности играли банки, а в более отсталых европейских странах, вроде Венгрии и России, где банковская система была слаба, развитие промышленности стимулировалось правительственными субсидиями.

Опираясь на эти наблюдения, Гершенкрон подверг ревизии некоторые устоявшиеся представления о европейской индустриализации в целом. В частности, он выступил с критикой тезиса о неких необходимых предпосылках, или предварительных условиях (*prerequisites*), этого процесса, под которыми обычно понимают (с легкой руки Карла Маркса) первоначальное накопление капитала, известное из истории Англии. На самом деле, как показал Гершенкрон, пресловутое первоначальное накопление не было предпосылкой промышленного развития в большинстве стран на Европейском континенте. Более того, то, что выступало в качестве предпосылки и в некотором смысле «причины» (Гершенкрон берет это слово в кавычки) индустриализации в одной стране, оказывалось эффектом такого процесса в другой [132, с. 50].

Вместе с тем ученый не предлагает совсем отказываться от концепции предварительных условий индустриализации: ее можно использовать как *эвристический* прием в рамках реко-

мендуемого исследователем сравнительного подхода к проблеме. Полезно задаться вопросом, полагает Гершенкрон, как та или иная страна сумела начать индустриализацию, не имея стартовых условий, которыми обладали более передовые страны, и какие заменители недостающих факторов были там найдены [там же, с. 46, 50]. Такое исследование, по мысли автора, способно избавить модель европейской индустриализации от присущего ей догматизма и представить этот процесс более гибким, допускающим значительное разнообразие [там же, с. 32, 40, 50].

Разумеется, за полвека, прошедших с момента публикации книги Гершенкрона, было высказано немало критических замечаний по поводу его конкретных наблюдений над ходом индустриализации в тех или иных странах, включая Россию<sup>3</sup>. Но сам его подход к проблеме выдержал проверку временем. По словам современного британского историка Патрика О'Брайена, «типология Гершенкрона вдохновила [многие] поколения ученых и остается лучшей системой координат для экономических историков, озабоченных тем, чтобы поместить свое исследование в более широкую и потенциально более глубокую перспективу, исходящую из сравнений, [охватывающих] всю Европу» [136, с. 7366]. Такое научное долголетие работ американского ученого объясняется, в частности, мастерским применением Гершенкроном приемов сравнительного анализа, позволяющих, с одной стороны, упорядочивать огромный эмпирический материал, а с другой — корректировать первоначальную модель, делая ее более реалистичной.

Александр Гершенкрон по праву может быть назван одним из крупнейших компаративистов первых послевоенных десятилетий. Из его трудов, помимо «Экономической отсталости в исторической перспективе», особого упоминания в связи с проблемой сравнения в истории заслуживает книга «Европа в российском

---

<sup>3</sup> Обсуждение модели индустриального развития России, предложенной Гершенкроном, с учетом последующей литературы по этому вопросу см.: *Gregory P. R. Russian Industrialization and Economic Growth: Results and Perspectives of Western Research // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. N. F. Bd. 25. N. 2 (1977). P. 207–214; Бовыкин В. И. Экономическая политика царского правительства и индустриальное развитие России. 1861–1900 гг. // Экономическая история: Ежегодник. 2002. М., 2003, особенно с. 11–13, 16–18.*

зеркале» (1970) — публикация лекций, прочитанных им в Кембридже в мае 1968 г. В этой работе Гершенкрон, по его словам, хотел показать, какой свет изучение российской экономической истории проливает на некоторые вопросы, занимавшие исследователей экономической истории Запада [133, с. 1]. Один из подобных вопросов — гипотеза Макса Вебера о связи протестантской этики и духа капитализма.

Обращаясь к этой проблеме, Гершенкрон прежде всего напомнил о том, что сам Вебер представлял свою знаменитую гипотезу в качестве предположения, программы [будущего] исследования, но в последующей литературе оговорки, сопровождавшие его тезис, были отброшены, а гипотеза принята в качестве «непоколебимо установленной истины». Ученый предпринял попытку проверить на одном «кейсе» правдоподобие веберовской идеи о наличии причинной связи между теологической доктриной и экономической деятельностью, избрав «исключительно подходящий», по его словам, для этой цели случай, а именно — судьбу русских купцов-старообрядцев [там же, с. 11].

Как известно, из среды старообрядцев вышло немало крупных предпринимателей XIX в. (Морозовы, Рябушинские и др.), однако, по мнению Гершенкрона, высокие моральные и деловые качества этих людей не вытекали из особенностей религиозной доктрины, которой они придерживались (в догматическом плане старообрядчество мало чем отличалось от официального православия), а были следствием особого — гонимого — положения данной социальной группы, подвергавшейся преследованиям властей [там же, с. 31, 37]. Кроме того, хотя вклад купцов-старообрядцев в создание ткацкой промышленности в России нельзя отрицать, эти их успехи, как подчеркивает автор, пришлись на дореформенное время, между тем как стремительный промышленный подъем конца XIX в. был результатом деятельности совершенно иной генерации предпринимателей — людей с западным образованием, не испытывавших, в отличие от старообрядцев, недоверия к государству и не чуравшихся контактов с иностранцами [там же, с. 18, 42–43].

Проанализированный случай, как полагает Гершенкрон, свидетельствует о том, что социальное положение преследуемой группы было для ее членов достаточным стимулом для участия

в прибыльной экономической деятельности и развития специфических качеств, которые Макс Вебер считал присущими «капиталистическому духу». Тем самым подвергается сомнению тезис последнего о значении кальвинистской доктрины для развития современного капитализма [там же, с. 45–46].

Развивая «наступление» на концепцию Вебера, американский ученый приводит еще один пример из российской истории: он цитирует сочиненный в сибирской ссылке трактат хорватского ученого иезуита Юрия Крижанича, в котором тот советует царю для развития торговли и воспитания у русских купцов таких качеств, как трудолюбие, честность и предприимчивость, учредить в России ремесленные цехи, как в Западной Европе. Гершенкрон находит весьма показательным, что перечень положительных качеств, которые Крижанич, ревностный католик, ненавидевший протестантов, хотел видеть в русских купцах и ремесленниках, совпадает с теми, которые Вебер считал специфическим порождением пуританского духа. Более того, по мнению исследователя, недооценка влияния ремесленных цехов на формирование пуританской этики и буржуазного рационализма является серьезным недостатком концепции знаменитого немецкого социолога [там же, с. 54, 56, 58–59]. Сам же Гершенкрон был полностью согласен с точкой зрения английского экономиста XVII в. Уильяма Петти, полагавшего, что «коммерция не привязана к какому-либо виду религии как таковому» (цит. по: [там же, с. 46]).

Разумеется, американский историк-экономист не поставил точки в знаменитом споре, и сторонникам концепции Вебера есть что сказать в ее защиту<sup>4</sup>, но нас в данном случае интересуют пре-

---

<sup>4</sup> В частности, уместно напомнить о том, что Вебер не устанавливал прямой причинно-следственной связи между кальвинистской доктриной и «духом капитализма»; он писал лишь о том, что «капиталистическая форма хозяйства и «дух», в котором оно ведется, находятся в отношении «адекватности», но эта адекватность» не тождественна обусловленной «законом» зависимости» [119, с. 85]. В другом месте своего труда он говорит об «избирательном средстве» «между известными формами религиозного верования и профессиональной этикой» [там же, с. 106]. Речь, таким образом, идет не о детерминизме, не о жесткой зависимости, а о *соответствии* определенных форм религиозного опыта (в веберовском смысле «идеальных типов») неким формам экономического

жде всего аргументы Гершенкрона и роль, которая среди них отведена сравнению. Обычно специалисты по российской истории используют европейскую модель как некий эталон, с которым сопоставляются явления и процессы, происходившие в России. В работе же американского исследователя русские «кейсы» становятся эффективным инструментом проверки влиятельной теории.

Если в 1950–1960-х гг. тон в компаративистике задавали историки экономики, то начиная с 1970-х гг. «эстафету» у них приняли специалисты по различным проблемам социальной истории: истории семьи, социальных групп и слоев, общественных движений, образования, урбанистики и т. д. По подсчетам Хартмута Кэлбле, в 1970-е гг. в Европе ежегодно издавалось от двух до пяти книг и статей по сравнительной социальной истории; в 1980-е гг. эта «продукция» возросла в среднем до 15 публикаций в год, а своего рода «рекорды» были установлены в 1988 и 1994 гг. (40 и более 20 работ соответственно). В США в тот же период (1970–1995 гг.) публикации по этой тематике оставались в среднем на уровне 10 в год [29, с. 153 и диаграмма на с. 154].

Таким образом, хотя в общем объеме работ по истории сравнительные исследования по-прежнему составляют лишь небольшой процент, интерес к компаративистике к концу XX в., несомненно, возрос по сравнению с довоенным периодом, когда отдельные энтузиасты, вроде Марка Блока или Анри Пиренна, пытались убедить своих коллег в преимуществах сравнительного метода. В наши дни уже десятки ученых в разных странах мира систематически применяют сравнение в своих исследованиях. Географически выделяются два центра, где сравнительно-исторические исследования сейчас наиболее развиты. Одним из них являются США, а другим — Германия.

Долгое время среди историков-компаративистов, работавших в США, преобладали специалисты по истории Европы, а собственно американисты не проявляли особого интереса к сравнениям. Основным объектом изучения А. Гершенкрона, как уже говорилось, служила европейская индустриализация XIX — начала

---

поведения. В такой трактовке знаменитый веберовский тезис становится малоуязвимым для критики.

XX в., а областью специализации другого упомянутого выше экономического историка, Сильвии Трапп, были ремесло и торговля средневековой Англии.

Не был американистом и Роберт Палмер, историк Великой французской революции, автор получившей широкую известность книги «Эпоха демократической революции, 1760–1800» (2 т., 1959–1964), в которой он на материале стран Западной и Центральной Европы, а также США показал противоборство сил демократии и аристократии в один из ключевых периодов истории «западной цивилизации» [153]. Порой в литературе эту работу приводят в качестве образца сравнительно-исторического исследования (см., например: [77, с. 160–161]), но мне представляется более обоснованной точка зрения американского историка Карла Деглера, справедливо отметившего, что сравнение не играет главной роли в работе Палмера, который не стремится выявить общие черты или отличия изучаемых им стран, а просто прослеживает судьбу интересующей его идеи поверх национальных границ [56, с. 426, 427]. Оценивая труд Палмера с позиций сегодняшнего дня, следует признать, что он не внес особого вклада в развитие исторической компаративистики, но зато его можно рассматривать как прообраз таких современных направлений исследований, как глобальная и транснациональная история.

Между тем потребность в осмыслении национального прошлого Соединенных Штатов при помощи сравнительного анализа все сильнее ощущалась как профессиональными историками, так и более широкой публикой. Ответом на этот растущий запрос стала публикация в 1968 г. сборника статей «Сравнительный подход к американской истории» под редакцией К. Ванн Вудворда. Сборник вырос из серии передач радиостанции «Голос Америки», которые в течение ряда лет вели приглашенные эксперты по самым разным аспектам истории США.

Как отметил в своей рецензии на книгу Карл Деглер, необычное происхождение сборника наложило отпечаток на его содержание: в частности, авторы статей не демонстрируют единства в понимании сути сравнительной истории. Более того, по мнению рецензента, многие участники сборника вообще не используют сравнения или делают это в отношении второстепенных сюжетов;

причем наиболее последовательно сравнительный подход применяют не американисты (составившие большинство авторского коллектива), а несколько специалистов по истории других стран: П. Гей, Р. Уинкс и упомянутый выше Р. Палмер [56, с. 428].

Впрочем, одна статья, написанная американистом, заслуживает упоминания как раз благодаря удачному применению сравнения: Дэвид Шэннон задается вопросом о том, почему, в отличие от других развитых стран, в США так и не возникли политически влиятельная марксистская партия и сильное социалистическое движение. Но сравнение не только помогает автору увидеть проблему там, где ее раньше не замечали, но и наметить возможные пути решения. В частности, параллели со странами, где марксисты пользовались большим влиянием, позволяют избежать ложных объяснений (локальных псевдопричин, как сказал бы Марк Блок). Так, Шэннон справедливо отказывается в доверии популярной версии, согласно которой неудача социалистического движения в США объяснялась неверными тактическими решениями, случаями предательства и коррупции в его рядах и т. д.: «Никто не будет всерьез утверждать, — пишет ученый, — что американские социалисты были более бездарными или продажными, чем британские, японские, шведские, русские или австралийские марксисты, которые добились намного больших успехов» [24, с. 242]. Поэтому объяснение отличий американского социалистического движения от японского или шведского, резонно заключает историк, следует искать не в специфике самого этого движения как такового, а в особенностях того или иного общества в целом. Развивая эту линию аргументации, Шэннон перечисляет далее ряд факторов, негативно повлиявших, по его мнению, на судьбу социалистической идеи в США, включая специфику политического строя (двухпартийная система, институт президентства), высокие темпы экономического роста, а также гетерогенность американского общества, приводившую к тому, что трудящиеся идентифицировали себя в первую очередь с определенной религиозной или этнической группой (ирландский католик, пуэрториканец и т. д.), а не с рабочим классом [там же, с. 242–247].

Стоит отметить также удачное сравнение американского империализма с аналогичной политикой других великих держав

в статье Робина Уинкса [там же, с. 253–270] и характеристику Питером Геем американского Просвещения как члена большой «семьи» Просвещения в целом, а новорожденных Соединенных Штатов после Декларации независимости — как «лаборатории для [проверки] просветительских идей» [там же, с. 35, 42].

Призыв К. Ванн Вудворда и его коллег к сравнительному изучению американской истории оказал влияние на следующее поколение ученых: Карл Гварнери вспоминал четверть века спустя о том, какое впечатление в студенческие годы произвел на него этот сборник. «Перечитывая его сегодня, — писал он в 1995 г., — мы можем найти многое достойное восхищения в выдвинутой там компаративистской программе, призванной не только проверить американские претензии на национальную уникальность, но и поместить историю Соединенных Штатов в международную систему координат» [59, с. 553].

Однако развитие сравнительно-исторических исследований в США происходило не так быстро, как хотелось бы сторонникам этого подхода. В 1980 г. Джордж Фредриксон, анализируя состояние сравнительной истории в Америке, с сожалением констатировал фрагментарность этого поля и редкость подобного рода работ: «Сравнительная история, — писал он, — еще в действительности не существует как признанная область внутри истории или даже как четко определенный метод изучения истории» [57, с. 24]. Столь же критически оценивал положение дел в американской историографии Реймонд Гру: в статье с говорящим названием «Сравнительная слабость американской истории» (1985) он связал весьма ограниченное влияние американистов на мировую историческую науку со слабым интересом к компаративистике в их профессиональном сообществе [60, с. 89]. По подсчетам Гру, в редактируемом им журнале «Сравнительные исследования общества и истории» работы по американской тематике составили менее 10 % от общего числа опубликованных там за 25 лет (с 1958 г.) статей [там же, с. 88].

Пытаясь объяснить относительно слабый интерес американистов в 1970–1980-х гг. к сравнениям в международном масштабе, К. Гварнери указал на подъем в те годы «новой социальной истории», которая поглотила энергию нового поколения исследо-

вателей и направила их усилия на изучение таких тем, как семья, гендер, этнические меньшинства, частная жизнь и т. д. [59, с. 552–553, 559, 560].

Но звучали и другие оценки. Так, Питер Колчин начал свою статью фразой: «Сравнительная история сейчас в моде». Аргументируя это утверждение, ученый сослался на съезд Американской исторической ассоциации 1978 г., специально посвященный данной теме, а также октябрьский и декабрьский номера журнала *American Historical Review* за 1980 г. [65, с. 64]. (К этому перечню можно добавить материалы дискуссии о сравнительной истории, опубликованные в том же журнале в начале 1982 г., когда статья Колчина уже находилась в печати, см.: [41].) Что же касается разных мнений, высказанных в литературе по поводу состояния сравнительной истории, то П. Колчин резонно заметил, что эти оценки зависят от понимания самого термина, в отношении которого у исследователей нет единства [65, с. 64].

Действительно, Дж. Фредриксон, например, проводил резкую грань между «сравнительной историей в полном смысле слова», под которой он понимал только такие работы, где «главной целью (курсив Дж. Фредриксона. — М. К.) является систематическое сравнение некоего процесса или института в двух или более обществах», — и «ограниченным использованием общей “сравнительной перспективы”» [57, с. 23]. Более того, ученый утверждал, что «пока сравнительная история не превратится в отдельную область или признанную субдисциплину внутри истории по типу сравнительной социологии, политологии или литературы, она вряд ли станет ведущим направлением в профессии» [там же, с. 36]. Поэтому можно согласиться с П. Колчиным в том, что пессимистичная оценка Фредриксоном всего, что было сделано американскими историками в области компаративистики, отчасти является следствием чересчур узкого понимания сравнительной истории [65, с. 78]. Сам Колчин был отнюдь не склонен противопоставлять компаративистов остальным историкам: «...сравнительный историк открыто делает то, — писал он, — что делают и другие историки, ибо практически все исторические утверждения подразумевают сравнение. <...> Поскольку все исторические суждения имплицитно сравнительны, то, что мы называем сравнительной

историей, является попыткой ясно, тщательно и строго делать то, чем большинство историков занимается большую часть времени» [там же, с. 65]. Неудивительно, что при столь широком толковании ключевого понятия Колчин гораздо позитивнее некоторых своих коллег оценивал успехи исторической компаративистики в США: в частности, он утверждал, что «сравнительное понимание (comparative consciousness) сейчас широко распространено среди американских историков», что уже само по себе является признаком прогресса, а «явно выраженное сравнение (explicit comparison) принесло положительные результаты в ряде областей» [там же, с. 77, 78].

С наибольшим успехом американисты разрабатывали в сравнительном ключе тему рабства и расовых отношений (обзоры литературы по этой проблематике см.: [57, с. 30–34; 65, с. 69–74; 58, с. 593–598]). Так, Карл Деглер в книге «Ни черный, ни белый: Рабство и расовые отношения в Бразилии и Соединенных Штатах» (1971), за которую автору была присуждена Пулитцеровская премия, выявил различия в положении черного населения в сравниваемых странах и попытался их объяснить особенностями демографического, экономического и культурного развития одного и другого общества. Джордж Фредриксон в серии работ, опубликованных на протяжении 1980–1990-х гг., сравнил расовые отношения в США и Южной Африке в XX столетии (см., например: [169, 27]). Широкий резонанс вызвала также книга Питера Колчина «Несвободный труд» (1987), в которой параллельному изучению были подвергнуты рабство в южных американских штатах и русское крепостничество до 1861 г. [176] (книга Колчина будет подробно рассмотрена в третьей части учебного пособия).

Другой темой сравнительных исследований американских историков (как американистов, так и специалистов по истории Западной Европы) стала в конце XX в. проблема возникновения и развития систем социального страхования и обеспечения. Так, Алиса Клаус, изучив политику в сфере охраны материнства и детства в США и во Франции на рубеже XIX–XX вв., обнаружила значительные различия, которые, по ее мнению, объяснялись особенностями культуры и идеологии каждой из этих стран. По наблюдениям исследовательницы, во Франции начала XX столе-

тия локомотивом подобной политики выступало правительство, озабоченное падением рождаемости в стране в условиях угрозы войны; в США же инициатива исходила от женских автономных организаций, а идеологическое обоснование мер по защите здоровья женщин и детей строилось на расовых и евгенических аргументах вроде опасности вымирания «коренных» (белых) американцев из-за более высокой рождаемости недавних иммигрантов (обзор книги А. Клаус см.: [58, с. 601]).

Гендерный подход характерен и для другого сравнительно-исторического исследования на близкую тему — книги Сьюзан Педерсен «Семья, зависимость и истоки государства социального обеспечения: Британия и Франция, 1914–1945» (1993). Как отмечает автор, британская социальная политика руководствовалась логикой «мужчина — кормилец семьи» (*male breadwinner logic*); рынок труда был организован вокруг заработка главы семьи, и социальные программы поддерживали «право» рабочих содержать жен и детей даже в случае временного перерыва в занятости или ухода с работы. Зато во Франции меры социального обеспечения характеризовались «родительской логикой»: родителям помогали нести расходы по воспитанию детей, которые рассматривались в качестве национального достояния; средства перераспределялись от бездетных семей к семьям с детьми. Так вместо гарантии «права» мужчин содержать свои семьи французская политика была направлена на борьбу со снижением рождаемости и на строительство нации в условиях постоянного военного и экономического соревнования с более густонаселенной Германией<sup>5</sup>.

Иначе подошел к проблеме происхождения «государства всеобщего благосостояния» (*welfare state*) в Европе Питер Болдуин (р. 1956). В отличие от названных выше исследователей, его интересовали не особенности социальной политики в той или иной стране, а факторы, способствовавшие формированию *welfare state* в Западной Европе в целом. Поскольку речь шла об общеевропей-

---

<sup>5</sup> Не имея доступа к книге Педерсен, информацию о ней я почерпнул из рецензий Энн Орлофф и Христианы Айферт, см.: Orloff A. [Review] // *American Journal of Sociology*. Vol. 101. N 1 (July 1995). P. 246–249; Eifert Ch. [Review] // *Journal of Modern History*. Vol. 68. N 1 (March 1996). P. 181–183.

ском феномене, важно было учесть не только внутреннее развитие отдельных государств, но и их влияние друг на друга и прямые заимствования. Поэтому ученый использовал не параллельное и контрастное сравнение, как А. Клаус и С. Педерсен, а приемы типологизации, напоминая те, которые применяли М. Блок (в «Феодальном обществе») и О. Хинце. При этом книга Болдуина «Политика социальной солидарности: Классовые основы европейского государства всеобщего благосостояния, 1875–1975» (1990) является полноценным эмпирическим исследованием, построенным на огромном фактическом материале: автор обследовал 34 архива и собрания документов государственных органов, политических партий и профсоюзов в пяти странах (Дании, Швеции, Франции, Великобритании, Германии).

Болдуин проследил становление «государства всеобщего благосостояния» на протяжении столетия — от первых опытов солидаристской политики в Дании и Швеции конца XIX в. до реформ социального обеспечения в европейских странах в 1970-х гг. В первую очередь внимание историка было сосредоточено на социальной базе политики коллективной солидарности: в интересах каких социальных слоев и по инициативе каких политических партий принимались законы о социальном страховании, пенсиях по старости и т. д.? В итоге ученый пришел к выводу о том, что распространенные в науке представления о связи подобной политики с рабочим движением и рабочим представительством не имеют под собой реальной основы; на самом деле солидаристская социальная политика и в скандинавских странах, и в Германии, и во Франции поддерживалась не только рабочими, но и центристскими и даже правыми партиями [147].

Питер Болдуин с успехом применял сравнение и в своих последующих крупных работах. Так, в книге «Инфекция и государство в Европе, 1830–1930» (1999), написанной на стыке истории медицины и истории политических институтов, он попытался выяснить, чем диктовался выбор тех или иных превентивных мер (от карантинных до санитарного контроля и профилактики), которые разные страны применяли для борьбы с заразными болезнями в XIX — начале XX в. В одних случаях решающим фактором оказывалось географическое положение, в других — экономические

интересы и т. д. Тема была продолжена в монографии «Болезнь и демократия: Индустриальный мир перед лицом СПИДа» (2005). Наконец, репутацию Болдуина как одного из крупнейших современных компаративистов упрочила недавно вышедшая книга «Нарциссизм мелких различий: Чем похожи Америка и Европа» (2009), в которой на обширном статистическом материале убедительно показано, что население США начала XXI в. по большинству параметров соответствует среднеевропейским показателям и что между шведами, например, и португальцами различий гораздо больше, чем между Европой в целом и Северной Америкой.

На европейском континенте историческая компаративистика, по наблюдениям Х.-Г. Хаупта, развивалась неравномерно: во Франции ее успеху (несмотря на знаменитый призыв М. Блока) препятствовали ориентация на монографические работы и скептическое отношение к теории, в Великобритании — преобладание национальной истории и дистанцирование от социальных наук, в Италии — региональная ориентация местной историографии<sup>6</sup>. По сходным причинам до конца 1980-х гг. в стороне от сравнительно-исторических исследований оставались Испания, Португалия и страны Восточной Европы. Более благоприятные условия для развития компаративистики сложились в историографии ФРГ, Швейцарии, Австрии и скандинавских стран [44, с. 2399–2400].

Рост интереса к сравнительному анализу в послевоенной западногерманской историографии был вызван рядом обстоятельств. Национальная катастрофа, в которую вверг страну гитлеровский режим, требовала исторического объяснения. Многие историки рассматривали нацизм как отклонение от «магистральной дороги», по которой шли остальные цивилизованные страны; так возник тезис об «особом пути» (*Sonderweg*) Германии в период до 1933 г. Сторонники этого тезиса указывали на ряд особенностей, отличавших судьбу страны в XIX столетии от Англии, Франции и Запада в целом: позднее образование единого национального государства, неразвитость парламентаризма, преобладание антилиберальных и милитаристских элементов в политической культуре

---

<sup>6</sup> Подробнее о развитии сравнительно-исторических исследований в послевоенной Франции см.: [54, 61]; Великобритании: [55]; Италии: [66].

и т. д.; в итоге «запаздывавшая» во всем нация встала на путь, приведший ее к национал-социализму. В ответ оппоненты подчеркивали роль факторов, оказавших непосредственное влияние на события 1920–1930-х гг. (прежде всего итоги Первой мировой войны, проигранной Германией), и обращали внимание на имплицитно присутствовавшую в тезисе о немецком «особом пути» идеализацию так называемого «Запада» (обзор дебатов о *Sonderweg* см.: [62, 82]). Но, каковы бы ни были аргументы сторон, этот спор об истоках постигшей немцев в XX в. катастрофы, несомненно, способствовал развитию исторической компаративистики в ФРГ.

Кроме того, немецкий историзм, отрицательно относившийся к сравнительному методу и противившийся влиянию социальных наук, в значительной мере утратил свои позиции после 1945 г. Новая методология исторического исследования разрабатывалась с учетом достижений социологии, политологии, экономики. В этом контексте произошла и переоценка роли сравнения в истории. В 1960-х гг. Теодор Шидер (1908–1984), один из самых влиятельных немецких историков того времени, предложил типологию формирования национальных государств в Европе XIX в. [155], а также сформулировал ряд принципов сравнительно-исторического исследования [77]. А в 1972 г. Ханс-Ульрих Велер, ученик Шидера и основатель школы «исторической социальной науки» (*historische Sozialwissenschaft*) в Билефельдском университете, назвал сравнение «королевской дорогой» (*Königsweg*) исторического исследования, позволяющей «проверять обоснованность очень общих или очень специальных гипотез» (цит. по: [64, с. 48–49]).

В 70–90-е гг. XX в. в ФРГ возникла мощная «индустрия» сравнительной социальной истории. Объектами сравнительного анализа стали, например, немецкие и британские профсоюзы в XIX в., немецкие и американские рабочие в черной металлургии и сталелитейной промышленности между 1860-ми и 1930-ми гг., адвокаты и лица других свободных профессий в разных странах, рабочее движение в Европе XIX в., европейский либерализм, социальное государство и многие иные темы и проблемы (обзор см.: [63, 64]). Получившуюся общую картину уместно дополнить несколькими «портретами» выдающихся современных немецких компаративистов.

Юрген Кокка (р. 1941) изучал в 1970-е гг. социальное положение служащих в США и Германии XIX–XX вв.; во второй половине 1980-х гг. он участвовал в большом коллективном исследовательском проекте, посвященном европейской буржуазии XIX в. С 1993 по 1997 г. Кокка руководил Отделом сравнительной социальной истории Свободного университета Берлина, а в 1998 г. он стал директором Центра сравнительной истории Европы в том же университете (с 2004 по 2008 г. — Берлинский коллегиум сравнительной истории Европы: *Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas*)<sup>7</sup>. Профессор Кокка является автором многих обзорных и программных статей (в том числе написанных им совместно с Х.-Г. Хауптом) по проблемам сравнения в истории, опубликованных в ряде журналов и сборников на нескольких языках (см.: [82, 83, 28, 23]; обзор теоретических работ Кокки по исторической компаративистике см.: [48, с. 23–26]). Эти статьи, во многом определяющие современную парадигму исторического сравнения, неоднократно цитируются в данном учебном пособии.

Коллега и соавтор Ю. Кокки Хайнц-Герхард Хаупт (р. 1943) преподавал во многих университетах Германии и в Европейском университетском институте во Флоренции. Он занимался сравнительной историей ремесла и цехов в XIX в., а также потребления, насилия и терроризма в Европе XIX–XX вв. Хаупт наряду с Ю. Коккой является одним из наиболее авторитетных теоретиков исторической компаративистики; его перу принадлежит, в частности, статья о «сравнительной истории» (*comparative history*) в «Международной энциклопедии социальных и бихевиористских наук» [44].

Эту небольшую «портретную галерею» завершает Хартмут Кэлбле (р. 1940), профессор университета имени Гумбольдта в Берлине, ведущий специалист по сравнительной социальной

---

<sup>7</sup> См. страницу Юргена Кокки на сайте Свободного университета Берлина: [http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/fmi/mitglieder/Emeriti\\_Professorinnen\\_und\\_Professoren\\_im\\_Ruhestand/jkocka.html](http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/fmi/mitglieder/Emeriti_Professorinnen_und_Professoren_im_Ruhestand/jkocka.html) (последнее посещение 26.02.2014). Директорами Берлинского коллегиума сравнительной истории Европы наряду с Ю. Коккой являлись профессор Манфред Хильдермайер, Хартмут Кэлбле и Хольм Зундхауссен.

истории Европы XIX–XX вв. В книге «Социальная мобильность и равенство возможностей в XIX–XX веках» (1983) он сравнил в длительной временной перспективе шансы представителей различных социальных групп в Германии (служащих, учителей, предпринимателей и др.) на получение образования и успешную карьеру с аналогичными условиями в других странах (в частности, в США и Франции). В результате историк выявил общие тенденции роста социальной мобильности в Европе и индивидуальные особенности развития германского общества между 1850 и 1960 г. [175]. В дальнейшем ученый изучал проблемы стратификации и социального неравенства в различных странах Европы XIX–XX вв., а также формирование европейской идентичности<sup>8</sup>. Кроме того, Кэлбле принадлежит единственная в своем роде книга по методологии исторического сравнения, призванная служить введением в сравнительное изучение социальной истории XIX и XX столетий [29].

Оглядываясь на тот путь, который историческая компаративистика прошла со времени выхода памятной статьи М. Блока (1928), нельзя не заметить определенного прогресса. К настоящему моменту изданы десятки книг и сотни статей, в которых историческое сравнение является основным исследовательским приемом. «Сравнительная перспектива» стала привычной и, пожалуй, даже необходимой «связкой», которую организаторы конференций используют для придания подобия целостности многообразию докладов участников из разных стран или регионов. Нет недостатка и в программных статьях, и в тематических сборниках (за минувшие 25 лет, начиная с 1990 г., можно насчитать не менее пяти представительных сборников по проблемам сравнительной истории: [30, 28, 25, 23, 26]). Но, несмотря на количественный рост сравнительно-исторических исследований, современные компаративисты, оценивая состояние поля, в котором они работают, отнюдь не склонны впадать в эйфорию; в их выступлениях звучат тревожные и даже пессимистические ноты.

---

<sup>8</sup> См. список публикаций Х. Кэлбле на сайте Берлинского университета им. Гумбольдта: <https://www.geschichte.hu-berlin.de/bereiche-und-lehrstuehle/kaelble> (последнее посещение: 27.02.2014).

Как и их предшественники сто лет назад, нынешние историки-компаративисты постоянно подчеркивают, что принадлежат к незначительному меньшинству среди своих коллег по профессии: «Историки печально известны своим сопротивлением сравнениям, — пишет Питер Болдуин. — Несмотря на одобрительные кивки в сторону сравнения, профессия по-прежнему организована по принципу национальных [исследовательских] полей. Историческая методология подчеркивает уникальность своих объектов, объясняя их развитие с помощью нарратива, представляющего их эволюцию» [36, с. 1].

Болдуину вторит его коллега Дебора Коэн: «Несмотря на хвалебные песни [сравнительному] методу и конференции, посвященные его пропаганде, сравнительная история остается маргинальным занятием в Соединенных Штатах, — с грустью замечает исследовательница. — В отличие от гендерной или новой культурной истории, она не модна и до недавнего времени не становилась предметом дискуссии» [40, с. 57].

Наиболее обстоятельно причины скептического отношения историков к сравнению, а следовательно, и маргинального положения сравнительной истории, постарался объяснить Юрген Кокка. Он выделил три особенности сравнения, которые осложняют его применение в историческом исследовании, поскольку создают «некоторое напряжение между сравнительным подходом и классической традицией истории как дисциплины». Во-первых, чем больше объектов подвергается сравнению, тем сильнее зависимость исследователя от вторичной литературы и тем дальше он от оригинальных источников; близость же к источникам и владение языками, на которых они написаны, составляют важнейший принцип современной исторической науки. Во-вторых, сравнение предполагает выделение и изоляцию друг от друга сравниваемых объектов, но тем самым нарушаются непрерывность изучаемого процесса и взаимосвязь явлений, прерывается нить повествования, а ведь все это классические элементы истории как дисциплины. В-третьих, говорит Кокка, поскольку сравнение объектов во всей их целостности невозможно, необходим выбор точки зрения, проблемы, вопроса, по отношению к которым и происходит сравнение; но это означает деконтекстуализацию, и тем самым страдает

еще один важный для истории принцип — внимание к контексту [83, с. 41–42].

Со многими приведенными выше утверждениями можно и поспорить. Прежде всего, тезис о глубоко укорененном недоверии или, тем более, «сопротивлении» историков сравнению кажется странным, если вспомнить о том, что сравнение в истории, как уже не раз говорилось, существует со времен Геродота. Трудно поверить и в «маргинальность» сравнительной истории, листая обзоры и многостраничные библиографические перечни работ, выполненных в сравнительном ключе (подобные перечни см.: [29, с. 161–179; 25, с. 181–197; 23, с. 276–290]). Другое дело, что сравнивать можно по-разному: систематически или хаотично, продуманно или наобум, эффективно или без всякой пользы. В этом смысле такие мастера систематического и тщательно продуманного, «рафинированного» сравнения, как Марк Блок, Отто Хинце, Александр Гершенкрон, а в наши дни — Юрген Кокка, Питер Болдуин и некоторые другие ученые, конечно, принадлежат к «избранному меньшинству».

Здесь напрашивается параллель с источниковедением: все историки используют источники, но не все из них избирают изучение документов и подготовку их к печати своей научной специальностью. Более того, не во всех национальных историографиях есть развитые традиции того, что по-немецки называется *Quellenkunde*, а по-русски — источниковедением (характерно, что в английском языке нет точного эквивалента этого термина). Тем не менее до сих пор не приходилось слышать жалоб на то, что источниковедение «вышло из моды» или занимает «маргинальное положение» в профессии. Подобные жалобы со стороны компаративистов, с одной стороны, выдают их большие амбиции, а с другой — свидетельствуют об отсутствии у них ясного представления о том, что собой представляет так называемая «сравнительная история»: особый метод, направление исследований или, может быть, как полагал Дж. Фредриксон (см. выше, с. 72–73), отдельную субдисциплину внутри истории. Этот важный вопрос, по которому до сих пор нет единого мнения среди специалистов, будет подробно рассмотрен во второй части книги. Там же мы поговорим о таких специфических трудностях сравнительно-исторических работ, как

проблема доступа к первоисточникам и возможная зависимость от существующей историографии.

Свою лепту в современные споры вокруг исторической компаративистики вносят и представители новых направлений исследований — истории культурных трансферов, транснациональной и глобальной истории и др., — которые подвергают критике устаревшую, как им представляется, парадигму «сравнительной истории» и предлагают свои подходы, призванные ее заменить. Об этих новых «вызовах» исторической компаративистике, появившихся на рубеже XX–XXI вв., пойдет речь в следующей главе.

## НОВЫЕ ВЫЗОВЫ: КУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФЕРЫ, «ПЕРЕКРЕСТНАЯ» И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ И КРИТИКА ТРАДИЦИОННОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ

В середине 1980-х гг. в небольшом кружке французских историков немецкой литературы и культуры зародилось новое направление исследований — история трансферов, т. е. культурных заимствований. Новое направление заявило о себе в статье Мишеля Эспаня и Михаэля Вернера о рецепции немецкой философии во Франции конца XVIII–XIX в., опубликованной во влиятельном историческом журнале «Анналы» в 1987 г. Затем появился сборник под редакцией М. Эспаня и М. Вернера, озаглавленный «Трансферы. Межкультурные отношения во франко-немецком пространстве (XVIII–XIX века)» (1988). В дальнейшем, однако, пути соавторов разошлись: Эспань продолжал выступать под «флагом» истории трансферов, а Вернер в 1990-е гг. основал (вместе с политологом Бенедиктой Циммерманн) другое, хотя и близкое по духу направление — «перекрестную историю» (*histoire croisée*). Представители обоих течений заняли критическую позицию по отношению к исторической компаративистике — по крайней мере той ее форме, которая получила распространение в последние десятилетия XX в.

В статье, озаглавленной «О пределах компаративистики в культурной истории» (1994), Мишель Эспань, не оспаривая в целом полезность сравнения, указал на ряд ограничений, которые налагает на этот метод национальная историография. Прежде всего, по его мнению, «компаративистика предполагает замкнутые культурные пространства, чтобы затем иметь возможность выйти за рамки специфических особенностей [объектов] благодаря абстрактным категориям» [92, с. 112]. Наличие связующего звена (*tertium*

*comparationis*) между сопоставляемыми элементами, напоминает Эспань, является необходимой основой сравнительной операции<sup>1</sup>; однако в случае сравнений между нациями существует большой риск того, что это «посредничество» приведет к проекции строго национальной точки зрения. Историк вынужден использовать понятия типа «интеллектуалы», «политики», «преподаватели» или «европейские буржуа XIX века», которые, по убеждению Эспань, являются не столько инструментами исследования, сколько новыми идеологическими оковами. А когда отказываются от этих чересчур широких категорий, часто приходится констатировать, что сравнивать больше нечего. В качестве примера ученый ссылается на выполненное в 1980-х гг. исследование дуэлей во Франции, Германии и Англии, которое, по его словам, «не показало ничего, кроме несовместимости систем ценностей и разнородных кодов [поведения]» [там же, с. 113].

Принципиальной проблемой, подчеркивает Эспань, является позиция наблюдателя: в исследовании европейской образовательной системы, написанном в Германии, центральное место было бы отведено понятию *Bildung*, т. е. образованию почти в метафизическом смысле, в то время как французский или английский ученые могли бы вообще не упомянуть об этом понятии.

Заслуживает внимания и еще один упрек Эспань в адрес компаративистики, которая, по его словам, «сопоставляет синхронные констелляции, не принимая в должной мере в расчет хронологическую последовательность их взаимодействий» [там же]. Поясняя свою мысль, ученый отмечает, что сравнения обычно сосредотачиваются на «моментах культуры, которые, ввиду семантических подобий, воспринимаются как параллельные явления. Но сами эти моменты укоренены в развитии, которое растягивается на десятилетия и даже столетия» [там же]. Если бы кто-нибудь, продолжает Эспань, постарался сравнить библиотеки или роль церкви во Франции и Германии, сразу получился бы внушительный список структурных различий. Однако, взятые сами по себе, эти различия не имеют никакой объяснительной силы, «поскольку места,

---

<sup>1</sup> Подробнее о *tertium comparationis* (букв.: «третьем элементе сравнения») см. ниже, ч. II, гл. 3.

которые они занимают в соответствующих национальных сферах, не являются ни в коей мере симметричными» [там же].

Свою статью Эспань закончил на примирительной ноте: призыв к проведению сравнительных исследований, по его мнению, может способствовать положительным результатам, если его понимать как «систематическое расширение поля за пределы национальных различий (clivages)». Но сравнение как метод ни в коем случае не должно восприниматься некритически, и теорию культурных трансферов автор рассматривает как «вклад в методологическое исправление компаративистики в культурной истории» [там же, с. 121].

Ряд критических замечаний Эспаня можно рассматривать как полезные предостережения, актуальные как для компаративистов, так и для историков вообще; это относится и к словам о зависимости позиции наблюдателя (т. е. исследователя) от его национальной культуры или научной традиции, и к напоминанию об обманчивости семантической близости понятий в разных языках. Но, как справедливо отмечает Иоганн Паульманн, некоторые из сделанных Эспанем упреков составляют часть самокритики компаративистов, которые вполне осознают, что предмет сравнительных исследований искусственно конструируется [96, с. 671]. Кроме того, утверждение Эспаня, будто сравнения всегда делаются с национальной точки зрения и будто даже нельзя себе представить сравнительную историю, которая не опиралась бы на понятие нации [92, с. 120], не соответствует действительности: есть немало современных работ, где сравниваются не национальные государства, а регионы. Поэтому нельзя не согласиться с Паульманном в том, что критика Эспаня не относится ко всей компаративистике в целом, хотя, конечно, каждый может привести примеры неудачных сравнительных исследований [96, с. 671]. Но главный аргумент, который выдвигает немецкий историк против концепции своего французского коллеги, состоит в том, что изучение культурных трансферов, которым занимается Эспань, без сравнения немыслимо: «Чтобы, будучи историком, понять, что вообще происходит при межкультурном трансфере, — пишет Паульманн, — необходимо сравнить: положение изучаемого объекта в старом контексте и в новом, социальное происхождение посредников и заинтересованных сторон в том и в

другом государстве, термины в одном и в другом языке и, в конце концов, интерпретацию феномена в культуре, из которой он происходит, с той, которую он получает после инкорпорации в иную культуру» [там же, с. 683]. Иными словами, как справедливо заключает Паульманн, работы о межкультурных трансферах неизбежно сравнительны и зависят от компаративистских исследований [там же].

То же относится и к амбициозному проекту «перекрестной истории» (*histoire croisée*), который его инициаторы М. Вернер и Б. Циммерманн представили научной общественности как новый и многообещающий в методологическом плане подход, свободный от недостатков и компаративистики, и истории трансферов. Стремление выйти за ограниченные рамки сравнительной истории заметно в их программной статье, которая в последней, англоязычной версии озаглавлена «Beyond Comparison: *Histoire croisée* and the Challenge of Reflexivity» (в опубликованном в 2007 г. русском переводе, по которому я цитирую ниже эту статью, ее название передано как «После компаратива: *Histoire croisée* и вызов рефлексивности»: [87]).

Авторы перечисляют пять проблем, с которыми, по их мнению, неизбежно сталкиваются компаративисты. Первая проблема нам уже знакома, о ней писал М. Эспань в проанализированной выше статье: речь идет о позиции наблюдателя, которая — в идеале — должна быть нейтральной и равноудаленной от изучаемых объектов, на практике же ученые всегда так или иначе вовлечены в поле наблюдения.

Вторая трудность, отмечаемая Вернером и Циммерманн, касается выбора масштаба сравнения: «Какой бы масштаб мы ни взяли: региональный, национально-государственный или цивилизационный <...> — он не будет ни абсолютно уникальным, ни генерализирующим. Каждый из перечисленных уровней реальности, — подчеркивают французские ученые, — исторически конституируется и локализуется, наполнен специфическим содержанием и поэтому сложно транспонируется в иные рамки» [там же, с. 64]. Иными словами, регион региону рознь; еще большие трудности возникают, как напоминают авторы, когда концепт цивилизации, сложившийся при определенных исторических условиях, пытаются использовать в качестве общего базиса для сравнения.

Третья проблема связана с предыдущей и относится к определению объектов сравнения, которое никогда не бывает нейтральным. Даже в случае ясных и простых в своих проявлениях объектов (безработные, студенты или родственные связи) схемы анализа будут отличаться не только из-за разницы в масштабе сравнения, но и из-за особенностей той или иной научной дисциплины, а также актуальных для данного ученого исследовательских традиций. «Дабы избежать ловушки допущения естественности объектов сравнения, — советуют авторы, — необходимо помнить об их историчности и учитывать те следы, которые эта историчность оставила на их характеристиках и на их современном использовании» [там же, с. 65].

Четвертая проблема описывает конфликты синхронной и диахронной логик: как отмечают Вернер и Циммерманн, сравнительный подход предполагает синхронию или по крайней мере паузу: даже если компаративисты изучают процессы трансформации и сравнивают события во времени, необходимо зафиксировать, «заморозить» объект. Исследователю бывает трудно объяснить, почему в его сравнительной схеме — имплицитно либо эксплицитно — подчеркивается один элемент процесса в ущерб другому. В результате ученые, говорят авторы, «ищет некий баланс, на практике всегда оказывающийся хрупким и неустойчивым» [там же, с. 66].

Наконец, пятая проблема относится к случаям взаимодействия объектов сравнения: поскольку в результате контакта объекты и практики трансформируются, это требует от исследователей переосмысления их концептуальных рамок и аналитических инструментов.

Замечу, что проблема, названная Вернером и Циммерманн последней, отнюдь не нова, и компаративисты давно научились с ней справляться. Прекрасными примерами успешного сравнительного изучения контактирующих обществ могут служить работы Марка Блока («Короли-чудотворцы»), Александра Гершенкрона («Экономическая отсталость в исторической перспективе»), Питера Болдуина («Политика социальной солидарности») и ряд других исследований. Что же касается остальных перечисленных проблем, то они представляют собой реальные трудности, причем не только

в работе компаративиста, но и любого историка. В самом деле: и позиция наблюдателя, и историчность объектов изучения, и условность категорий анализа, и сложности исследования процессов во времени, — все эти вопросы отнюдь не являются специфическими для компаративистики, они актуальны для нашей профессии в целом.

Какие же новые исследовательские приемы предлагают создатели «перекрестной истории»? На чем основана их уверенность в том, что рекомендуемый ими подход окажется эффективнее предыдущих?

Как явствует из самого названия обсуждаемого направления, в основе «перекрестной истории» лежит метафора пересечения, понимаемого как встреча и взаимодействие личностей, практик, объектов, точек зрения и т. д. [87, с. 60, 70–79]. Что касается научного инструментария, то авторы рекомендуют прагматическую индукцию, историзацию категорий анализа, а также рефлексивную, предполагающую корректировку принципов исследования по мере его проведения [там же, с. 79–89]. Это напоминает кулинарный рецепт, в котором перечисляются ингредиенты нового блюда. Но, как гласит английская поговорка, «качество пудинга проверяется в процессе еды»: только исследовательская практика способна подтвердить преимущества предлагаемого подхода. Между тем, как справедливо напомнил недавно Хартмут Кэлбле, ни *histoire croisée*, ни другие подобные направления не могут пока похвастаться обилием эмпирических работ; нет и получивших международную известность, часто цитируемых и переведенных на многие языки образцовых исследований [94, с. 37].

Действительно, за примерно двадцать лет, прошедших с момента первого упоминания *histoire croisée*, помимо нескольких программных статей М. Вернера и Б. Циммерманн, опубликованы лишь два тематических сборника [95, 91]. На этом фоне попытки сторонников данного направления представить его в качестве некоего нового этапа, оставляющего позади якобы устаревшую компаративистику (ср. название сборника 2004 г.: «От сравнения — к перекрестной истории»: [91]), выглядят явно преждевременными.

«Перекрестная история», как и история трансферов, отражает важную тенденцию современной историографии, получившую

распространение с конца XX в. на волне глобализации и проявляющуюся в стремлении выйти за рамки национальных государств и национальных точек зрения, в повышенном внимании к моментам общности, пересечения, взаимодействия. Подходы, подобные *histoire croisée*, возникли (под другими названиями) в разных странах. Так, в Германии этнолог-индолог Шалини Рандерия и историк-японист Себастьян Конрад выдвинули проект «разделенной истории» (*geteilte Geschichte*); в публикациях на английском языке для передачи этого понятия они используют термины *a shared history* и *entangled histories*, т. е. «переплетенные истории» (см. статьи С. Конрада и Ш. Рандерия в сборнике «Сравнительная и транснациональная история» (2009): [23, с. 53–54, 58, 77, 80, 81, 86]).

Проект разделяемой несколькими обществами истории — или «переплетенных» между собой (*entangled*) историй<sup>2</sup> — исходит из постколониальной перспективы, учитывающей связи между метрополией и ее бывшими колониями. У инициаторов этого проекта также есть претензии к компаративистике: по словам Ш. Рандерия, «стандартные сравнения в современной историографии, социологии и политологии основаны на концептуальном национализме, который трактует общества европейской метрополии так, как будто каждое из них развивалось своим особым путем, а затем сравнивает их друг с другом» [97, с. 79]. А в рамках концепции модернизации европейские общества сравниваются с неевропейскими в терминах недостатков и отставания, демонстрируемых последними. Такой сравнительный подход, по мнению Рандерия, не только игнорирует отношения между европейскими обществами, но, что еще хуже, оказывается не в состоянии поместить развитие европейских идей и институтов в транснациональный и имперский контекст. Взамен немецкий ученый предлагает перспективу «переплетенных историй» западных и незападных обществ, которая, по его мнению, помогает преодолеть «методологический национализм» и европоцентризм, свойственные со-

---

<sup>2</sup> В специальном номере американского журнала *Kritika: Explorations in Eurasian History* за 2009 г. судьбы России и Германии в первой половине XX в. рассматриваются в качестве примера «переплетенных историй» (*entangled histories*): [228].

циальным наукам, и увидеть в колониализме не внешний фактор, а составную часть европейской модерности [там же, с. 80].

Однако предложение Ш. Рандерия заменить сравнение западных обществ с остальным миром понятием «переплетения» (*entanglement*) [там же] кажется мне поспешным и недостаточно обоснованным. Как и в случае с историей трансферов и *histoire croisée*, вина за неудачное использование сравнения переносится с отдельных исследователей на метод в целом. Но разве компаративистика породила национализм, европоцентризм и другие «грехи», от которых никак не может избавиться современная историография? Уместно напомнить о том, что сравнение всегда присутствовало в работе историка, но его формы и цели использования менялись по мере развития нашей профессии. Поэтому единственный конструктивный вывод, который, на мой взгляд, следует из той критики (во многом справедливой), которой представители ряда современных направлений подвергают компаративистику, состоит в том, что приемы сравнения необходимо совершенствовать. Избавиться от сравнения или заменить его чем-то другим, как предлагают иные ученые, просто невозможно, но приспособить компаративный анализ к актуальным задачам исторической науки, учесть опыт (в том числе неудачный) и критические замечания — не только можно, но и нужно.

Ни история трансферов, ни *histoire croisée*, ни *entangled histories* не получили всеобщего признания в современной историографии; на роль собирательного понятия, объединяющего различные подходы, выходящие за национальные рамки, в последнее время с успехом претендует самое аморфное в методологическом плане из всех подобных течений — транснациональная история.

О транснациональной истории заговорили примерно четверть века назад: еще в 1991 г. Иэн Тиррелл, критикуя идею американской исключительности, продолжавшую, по его мнению, негативно влиять на историографию США, выдвинул проект «новой транснациональной истории» [98]. Попутно он отметил, что сравнительная история не обязательно противостоит национальной исключительности, поскольку существует «тенденция сравнивать целые страны и принимать за данность примат национальной

единицы анализа» [там же, с. 1035]. Впрочем, позднее, отвечая на критику в адрес его статьи, Тиррелл подчеркнул, что вовсе не имел в виду отказ от сравнительной истории, а лишь считал необходимым отделить ее от вопроса о национальных различиях; он также заметил, что сравнительный анализ вполне может сочетаться с транснациональным [там же, с. 1069–1070].

С тех пор у транснациональной истории появилось немало сторонников, однако четкого и общепринятого определения этого научного направления нет и сейчас. Как показала недавняя дискуссия, проведенная журналом *American Historical Review*, границы понятия «транснациональная история» остаются размытыми, оно пересекается с другим популярным термином — «глобальная история», но, в отличие от последней, не обязательно охватывает весь земной шар, а, например, описывает связи между регионами [88, с. 1442–1443, 1446]. В понимании одного из участников дискуссии, Свена Беккерта, транснациональная история — «это подход к истории, который фокусирует внимание на целом ряде контактов, которые выходят за границы политически определенных территорий и связывают различные части мира друг с другом» [там же, с. 1446].

Очевидно, идея пересечения границ образует смысловое ядро нового направления: так, по словам Акиры Ирие, «транснациональная история может быть определена как изучение движений и сил, которые пересекают национальные границы» [93, с. 213]. При этом постоянно подчеркивается «методологический плюрализм», свойственный данному направлению: по мнению Свена Беккерта, «транснациональная история не привязана к какому-то определенному методологическому подходу»; это — угол зрения (*way of seeing*) [88, с. 1454, 1459]. О том же говорят Себастьян Конрад и Юрген Остерхаммель в изданном ими сборнике о Германской империи 1871–1914 гг. в транснациональном измерении: понятие «транснациональный» относится к «прагматическому подходу, за которым не стоят ни разработанная теория, ни особые методы исследования»; это понятие нацелено на связи и констелляции, переходящие национальные границы [90, с. 14].

Очевидно, «эластичность» транснациональной истории, отсутствие у нее собственной методологии способствует исполь-

зованию этого направления в качестве «зонтичного» понятия, объединяющего целый ряд близких по духу течений. Так, Юрген Кокка в одной из статей рассматривает *histoire croisée* и *entangled histories* как разновидности транснационального подхода [83, с. 43]. В ряде совместных публикаций Ю. Кокка и Х.-Г. Хаупт настаивают на принципиальной совместимости сравнительной и транснациональной истории (см. изданный ими сборник 2009 г.: [23]), компаративистики и изучения «переплетений» в истории [46, с. 33] и призывают к «лучшему сочетанию сравнительной и переплетенной истории» [49, с. 21].

Соглашаясь в целом с этими оценками, следует, однако, сделать важное уточнение: в отличие от недавно возникших «перекрестной», «переплетенной», транснациональной и тому подобных историй, компаративистика не является ни старым, ни новым направлением в исторической науке. И если сравнительный анализ действительно сочетается с самыми разными подходами, адаптируясь к ним, то это происходит не потому, что представители различных направлений проявляют «добрую волю» и готовность к диалогу друг с другом. На мой взгляд, все гораздо проще: являясь неотъемлемой частью исторического познания, сравнение присутствует практически во всем, что делает историк. Таким образом, современные дискуссии вокруг разных вариантов транснациональной истории возвращают нас к фундаментальному вопросу о природе исторического сравнения. Мы рассмотрим его во второй части книги.

## СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Рассказ о судьбах исторической компаративистики в XX в. был бы неполон без упоминания сравнительно-исторической социологии (преимущественно американской), расцвет которой пришелся на 1960–1990-е гг.

Высокие образцы исторической социологии в начале XX в. были продемонстрированы в работах Макса Вебера, но затем этот жанр был надолго забыт, и даже вышедший накануне Второй мировой войны капитальный труд Норберта Элиаса «О процессе цивилизации» (1939), впоследствии признанный социологической классикой, тогда остался практически незамеченным. Историческая социология возродилась в США в первые послевоенные десятилетия. Лидеры ее «второй волны» — Баррингтон Мур (1913–2005), Райнхард Бендикс (1916–1991), Чарльз Тилли (1929–2008), Теда Скочпол (р. 1947) — сумели сделать историческую социологию влиятельным направлением в социологической науке. Отличительной чертой, своего рода визитной карточкой этого направления с самого начала стал сравнительный метод, активно применявшийся названными учеными.

Широкую известность получил труд Баррингтона Мура «Социальные истоки диктатуры и демократии: Лорд и крестьянин в формировании современного мира» (1966), в котором автор попытался выяснить политическую роль сельских классов, т. е. аристократов-землевладельцев и крестьян, в процессе перехода от аграрного к индустриальному обществу. На книге лежит явный отпечаток марксистской традиции: Мур выводит своего рода «классовые формулы» генезиса буржуазной демократии, а также фашистской и коммунистической диктатур. Но не в этом состоит

секрет успеха «Социальных истоков...»: исследование американского социолога впечатляет прежде всего своим масштабом (прослежены судьбы шести стран — Англии, Франции, США, Китая, Японии, Индии — на протяжении нескольких веков, не считая частых экскурсов в историю Германии и России), смелостью исторических параллелей, оригинальностью выводов. К достоинствам книги относится также внимание к контексту, богатство деталей, прекрасное знание автором обширной литературы на нескольких языках (включая русский!).

Мур выделяет три основных пути модернизации традиционных аграрных обществ. Первым, демократическим, путем прошли (из изученных автором стран) Англия, Франция и США. Необходимыми историческими условиями демократического развития ученый считает: 1) поддержание такого баланса сил, который позволяет избежать слишком большого усиления монархической власти и слишком большой независимости земельной аристократии; 2) поворот к коммерческому сельскому хозяйству; 3) ослабление землевладельческой знати; 4) предотвращение создания аристократически-буржуазной коалиции, направленной против крестьян и рабочих; 5) революционный разрыв с прошлым [125, с. 430–431].

При этом в рамках описанной выше общей траектории развития Мур отмечает значительные вариации, демонстрируемые отдельными странами. Так, в Англии аграрные отношения были кардинально преобразованы в ходе длительного процесса огораживаний, а пуританская революция середины XVII в. положила предел росту абсолютизма. Во Франции же, где в конце существования «старого режима» социально-экономическая ситуация была существенно иной, власть земельной аристократии была уничтожена в результате революции 1789 г. Интересна мысль социолога о том, что Великая французская революция оказалась частичной заменой или исторической альтернативой развития коммерческого сельского хозяйства, наблюдаемого в Англии [там же, с. 106]. Более того, если бы не революция, предполагает Мур, сращивание дворянства и буржуазии во Франции могло привести к консервативной модернизации сверху, как это произошло в Германии и Японии [там же, с. 109].

В конечном счете решающую роль в своем анализе общественных трансформаций американский социолог отводит балансу классовых сил. Вслед за марксистами он признает историческую роль буржуазии в развитии парламентской демократии: «Нет буржуа, нет демократии», — говорит ученый [там же, с. 418]. Традиционные же сельские классы (лендлорды и крестьяне) в интересах демократии должны или трансформироваться, или исчезнуть. Если же буржуазия оказывается слаба, а земельная аристократия и крестьянство продолжают существовать и в новую эру, то возникает развилка между двумя другими, недемократическими, путями. Реакционный союз землевладельцев и буржуазии, как в Германии и Японии, ведет к фашизму. Отмечая целый ряд различий между этими режимами [там же, с. 302–305], Мур подчеркивает важнейшие черты сходства азиатского фашизма с европейским (германским): и Япония, и Германия поздно вступили в индустриальную стадию развития; в обеих странах возникли режимы, сочетавшие внутренние репрессии с внешней экспансией; в обоих случаях социальной базой служила коалиция между индустриальной элитой и традиционными господствующими классами в деревне; в обеих странах возник правый радикализм — из страха мелкой буржуазии и крестьян перед наступающим капитализмом [там же, с. 305].

Наконец, третий путь, ведущий к коммунистической диктатуре, становится возможен там, где, как в России и Китае, буржуазия была очень слаба (настолько, что земельная аристократия не пыталась заключить с ней союз), но при этом в деревне, почти не затронутой коммерциализацией, сохранялись крестьянские общины, которые, не имея институциональных связей с высшими классами, воспринимали отношения с ними только как эксплуатацию. Большие аграрные бюрократии (по терминологии Мура), существовавшие в этих абсолютных монархиях, были еще одним фактором, способствовавшим развязыванию крестьянских революций [там же, с. 477–478].

Разумеется, столь амбициозный и масштабный труд не мог не вызвать множества критических замечаний, однако критики — среди них были историки и социологи — единодушно признавали новаторский характер книги Б. Мура. Так, известный британский историк Лоренс Стоун в рецензии, иронично озаглавленной «Вести

отовсюду»<sup>1</sup>, отметил немало недостатков в работе американского социолога: преувеличение степени усвоения коммерческих принципов лендлордами, а также скорости и насильственного характера исчезновения мелких крестьянских собственников в Англии; полное игнорирование демографического фактора в истории; невнимание к роли идеологии в революции и т. д. Вместе с тем он похвалил автора за «тонкое понимание сложностей социальных изменений», масштабное применение сравнительного метода, тщательное использование профессиональной литературы и ряд ценных наблюдений. «Шедевр, не лишенный изъянов (a flawed masterpiece)» — таков был финальный вердикт рецензента. «Книга Мура, тем не менее, — это новаторское исследование, — писал Л. Стоун, — удивительно проницательное в понимании социального и политического развития. Это — отличное введение в проблему роли сельского общества в формировании современного мира. Дерзкая, вызывающая и раздражающая, это — книга, заставляющая читателей думать, и часто — по-новому» [там же, с. 34].

Как показал недавно социолог Джеймс Махони, суммировав наблюдения современных исследователей по проблемам происхождения демократии и авторитаризма, некоторые ключевые гипотезы Баррингтона Мура — в частности, о том, что сильная и самостоятельная позиция буржуазии способствует установлению демократии, а ее альянс в качестве младшего партнера с земельной аристократией, направленный против крестьянства, ведет к диктатуре, — не получили подтверждения на эмпирическом материале как раз тех стран, которые он изучал (Англии, Германии, США, Японии). Вместе с тем эти гипотезы неожиданно подтвердились применительно к некоторым странам, оставшимся вне поля зрения Мура (Австрии, Швейцарии, Аргентине и др.) [116, с. 139–145]. В целом Дж. Махони полагает, что книга Мура по праву занимает почетное место в «анналах сравнительно-исторических исследований», поскольку основная заслуга ученого состояла не в том, что он положил конец дискуссии об истоках диктатуры и демократии, а в том, что вдохновил последующую

---

<sup>1</sup> Stone L. News from Everywhere // The New York Review of Books. Vol. 9. N 3 (August 1967). P. 32–34.

выработку гипотез в масштабе, который превосходит почти любую другую работу в современной социальной науке [там же, с. 138].

Райнхард Бендикс, коллега и почти ровесник Мура, эмигрировавший из нацистской Германии в США в конце 1930-х гг., так же активно использовал сравнение в своих работах 1960–1970-х гг., но в ином, неовеберянском стиле. По хронологическому и географическому охвату некоторые труды Бендикса, пожалуй, даже шире «Социальных истоков диктатуры и демократии»: так, в книге «Короли или народ: Власть и мандат на управление» (1978) автор прослеживает смену типов правления от средневековых монархий до государств XX в. на материале Англии, Франции, Германии, Японии, России, а в заключительной главе он затрагивает также китайскую революцию и современные арабские страны.

Определяя задачи своего исследования во введении к книге, Бендикс подчеркивает, что, в отличие от многочисленных работ по экономике, социологии и психологии, нацеленных на поиск скрытых сил, управляющих человеческим поведением, его интересовали структуры, более доступные непосредственному наблюдению. Изучая уходящие в далекое прошлое корни ныне существующих политических и культурных институтов, он стремился освободить общественное сознание от стереотипного представления о контрасте между традицией и современностью [121, с. 14]. Важная роль в авторском замысле отведена сравнительному анализу, который призван «обострить наше понимание контекстов, в которых могут быть сделаны более детальные каузальные выводы» [там же, с. 15]. При этом сравнительные исследования не должны подменять собой причинно-следственного анализа, поскольку они, имея дело лишь с несколькими случаями, не могут выделить переменные (это задача каузального анализа).

Таким образом, Р. Бендикс использует сравнительный метод совершенно иначе, чем Б. Мур: он не пытается искать причины исторических явлений и событий, не формулирует гипотез, а, следуя веберянкой традиции индивидуализирующего сравнения, придает особое значение контексту и стремится «сохранить ощущение исторической специфики при сравнении различных стран» [там же, с. 15]. Излюбленным сравнительным приемом Бендикса является контраст: так, он противопоставляет российское само-

державие и прусский абсолютизм; французскую и английскую монархии в начале Нового времени и Реформацию в той и другой стране; положение крестьян и революции в России и Китае [там же, с. 239–240, 321–323, 583–585].

Однако, несмотря на богатство приведенного в книге материала (почерпнутого из существующей литературы) и солидную эрудицию автора, научная ценность его труда вызывает серьезные сомнения: нет четкой постановки проблемы и полемики с предшественниками, отсутствуют новые наблюдения и выводы. Объемистый том Бендикса больше похож на учебное пособие, особенно полезное для тех студентов, кто интересуется теорией М. Вебера о типах легитимного господства. Но профессиональный историк, скорее всего, будет разочарован при виде этой пестрой мозаики, составленной из общеизвестных фактов и пространных цитат из работ авторитетных ученых.

Полную противоположность упомянутому труду Бендикса представляет собой вышедшая почти одновременно с ним книга ученицы Б. Мура — Теды Скочпол «Государства и социальные революции» (1979), ставшая одной из самых известных, но и самых спорных работ по сравнительно-исторической социологии.

В этой книге на основе сравнительного анализа Великой французской революции, Российской революции 1917 г. и революции в Китае 1911 г. предпринята попытка выяснить причины успешных социальных революций при старом режиме в целом. Поставленную задачу автор решает, по ее словам, индуктивным путем, последовательно применяя описанные Дж. С. Миллем в его «Системе логики» приемы сравнения: метод согласия (*method of agreement*) и метод различия (*method of difference*). Подчеркивая общие черты во французской, российской и китайской революциях (обычно относимых к разным типам), Скочпол подкрепляет свою аргументацию контрпримерами из истории стран, где социальные революции в сходных обстоятельствах или не случились (как в Японии эпохи Мейдзи), или потерпели неудачу (как в Германии в 1848 г.). В итоге исследовательница приходит к выводу, что «достаточными причинами» революционных ситуаций во Франции 1789 г., России 1917 г. и Китае 1911 г. были: 1) административный и военный коллапс государственных организаций, оказавшихся

под сильным давлением из-за рубежа со стороны более развитых стран; 2) существовавшие там аграрные социально-политические структуры способствовали широкому распространению крестьянских восстаний против землевладельцев [126, с. 154].

На взгляд историка, многое в книге Скочпол кажется странным, а то и неприемлемым. Начать с того, что из трех языков изучаемых ею стран она владеет только французским; оригинальные источники не цитируются вообще, а материал заимствуется из вторых рук — из монографий, написанных в основном на родном для автора английском. Главы, посвященные истории России, поражают схематизмом, обилием штампов, а дифирамбы победившим в революции большевикам очень напоминают страницы советских учебников истории. Нужно обладать поистине безграничной верой в силу индукции и «канонов Милля», чтобы надеяться с их помощью прийти к убедительным выводам на столь сомнительной эмпирической «основе»!

Но и со стороны коллег-социологов книга Скочпол подверглась серьезной критике. В частности, было замечено, что, используя правила индукции, сформулированные Миллем, Скочпол проигнорировала ясные указания самого Милля о том, что разработанные для естественных наук данные правила неприменимы для изучения социальных явлений<sup>2</sup> (об этих предостережениях Милля см. выше, с. 25). Майкл Буравой замечает, что Скочпол смогла развить влиятельную теорию революций благодаря своему «макросоциологическому воображению, которое в решающие моменты пересилило методы Милля» [123, с. 763]. Иными словами, вопреки заявлениям Скочпол, ее теория вовсе не является результатом индукции и не вытекает прямо из приводимых исследовательницей фактов.

Тот же критик справедливо указывает на то, что, стараясь следовать миллевскому методу, Скочпол полностью исключает возможность влияния предыдущих революций на последующие (ведь «метод согласия» предполагает сравнение независимых друг от друга явлений); между тем хорошо известно (и сама Скочпол упоминает

---

<sup>2</sup> См. статью Дж. Голдторпа, который суммирует критические замечания в адрес Скочпол, ранее высказанные Элизабет Николс и Стэнли Либерзоном: [115, с. 395].

этот факт в своей работе), что китайские революционеры сознательно подражали большевикам и некоторое время получали от них советы и помощь [там же, с. 769–770]. И, наконец, нельзя не согласиться с М. Буравым в том, что история словно застыла в книге Скочпол (*freezing history*): разделенные столетиями революции *должны*, по ее логике, относиться к одной категории и иметь одни и те же причины [там же, с. 769]. Действительно, события 1789, 1911, 1917 гг., вырванные из исторического контекста, выглядят в изображении Скочпол как абстрактные логические переменные.

Разумеется, книга Скочпол, пусть и получившая широкую известность, вряд ли может считаться «визитной карточкой» современной исторической социологии: стоит прислушаться к словам Виктории Боннелл (кстати, еще одной ученицы Б. Мура!), которая справедливо предостерегает против недооценки разнообразия, существующего внутри этого научного направления [122, с. 158]. В частности, далеко не все исторические социологи довольствуются, подобно Скочпол, сведениями, почерпнутыми из вторых рук: Боннелл приводит целый ряд работ, в том числе Ч. Тилли и свои собственные, в которых был собран и проанализирован большой эмпирический материал [там же, с. 172 и примеч. 53]. Встречаются среди них и настоящие полиглоты вроде Баррингтона Мура, который в упомянутой выше книге о социальных корнях демократии и диктатуры использовал литературу, помимо родного языка, также на французском, немецком и русском. Различаются и приемы сравнения: использование индукции и канонов Милля отнюдь не стало общим правилом в исторической социологии.

И все же некоторые характерные черты, присущие работе Скочпол, свойственны всем или большинству исторических социологов. Все они стремятся обогатить социальную теорию на основе исторических сравнений, оспорить прежние концептуальные модели и предложить новые. Каузальный анализ тоже распространен в их среде значительно шире, чем у историков. Наконец, дефицит исторического контекста и «духа времени» можно обнаружить и у некоторых коллег Скочпол, принадлежащих к той же «второй волне» исторической социологии. В частности, эта характеристика вполне относится к одной из последних книг Чарльза Тилли — «Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг.».

в которой изучается воздействие двух факторов — военного насилия и экономических ресурсов (капитала) — на формирование государств в Европе. При этом все остальные факторы и многообразные взаимосвязи исключены из рассмотрения ради удобства анализа; исторического контекста почти нет, и повествование скользит по векам и эпохам, словно стрелка прибора в физическом эксперименте. Время в книге Тилли — тоже физическая, а не историческая величина, и изменяется равномерно, так что каждое следующее столетие от предыдущего отличается только количеством: в частности, неуклонно уменьшается число суверенных государств или иных автономных политических образований [120].

Как видим, сравнительно-исторические исследования социологов существенно отличаются — и по целям, и по результатам — от аналогичных работ историков (эти отличия будут подробно рассмотрены во второй части книги: см. ч. II, гл. 2). Тем не менее, несмотря на явное наличие дисциплинарной границы, знакомство с социологической компаративстикой может быть полезным для историков.

Во-первых, социологи давно «снабжают» коллег из других дисциплин научной терминологией (очевидный пример — веберовские словечки «харизма», «легитимность» и др., получившие всеобщее распространение). Во-вторых, какими бы спорными ни были разработки исторических социологов, они могут служить концептуальной рамкой для исследований историков. Так, известный тезис Макса Вебера из «Протестантской этики...» стал отправной точкой для ряда сравнительно-исторических работ, включая и эссе Александра Гершенкрона, о котором шла речь выше (см. гл. 4). А без концепции Чарльза Тилли о соотношении военного и экономического факторов в формировании государств Нового времени трудно обойтись специалистам по политической истории Европы. В-третьих, в социологии проблемы сравнительного метода разработаны значительно подробнее, чем в истории, и обращение к соответствующим методологическим трудам (см., например: [113, 114, 115, 117 и др.]) может быть полезно для историков-компаративистов. И, наконец, лучшие работы по сравнительно-исторической социологии стоит читать уже хотя бы потому, что они, как выразился Лоренс Стоун по поводу книги Баррингтона Мура, заставляют нас думать по-новому.

## СУДЬБЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ В РОССИИ

До 20-х гг. XX в. историческая компаративистика в России развивалась в общем русле европейской историографии, но в сталинский период сравнительно-исторические исследования в нашей стране фактически прекратились и возобновились только на излете советской эпохи.

Русские историки XIX в., подобно своим европейским коллегам, неохотно прибегали к сравнениям: историзм в сочетании с культом национального государства способствовал укоренению представлений об особом историческом пути России, и единственной допустимой формой сравнения было противопоставление отечественного прошлого и истории Западной Европы. Этот контраст нашел отражение в научной терминологии: такие понятия, как «феодализм» и «средневековье», прочно ассоциировавшиеся с историей Запада, не прилагались к русскому прошлому, делившемуся всего на две эпохи: «древнюю Русь» и «новую Россию», рубежом между которыми считалось царствование Петра Великого. Подобный взгляд, в частности, был последовательно проведен в «Публичных чтениях о Петре Великом» (1872) С. М. Соловьева<sup>1</sup>. В другом программном тексте — вступительной главе к 13-му тому «Истории России с древнейших времен», названной «Россия перед эпохой преобразования», — знаменитый историк объяснял контраст между судьбами Западной и Восточной Европы особенностями их природы: «...две столько разнящиеся между собой половины Европы должны были иметь очень различную

---

<sup>1</sup> См.: Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом / подг. текста Л. Н. Пушкарева. М., 1984.

историю», — писал он [215, т. 13, с. 7]. По образному выражению Соловьева, «природа для Западной Европы, для ее народов была мать; для Восточной, для ее народов, которым суждено было здесь действовать, — мачеха» [там же, с. 8].

Если С. М. Соловьев просто и без лишних слов отрицал наличие феодализма в древней Руси [там же, с. 16], то его ученик в. О. Ключевский трактовал тот же вопрос более обстоятельно и менее категорично. «В удельном порядке можно найти немало черт, сходных с феодальными отношениями, юридическими и экономическими, — писал он в “Курсе русской истории” (1904), — но имея под собою иную социальную почву, подвижное сельское население, эти сходные отношения образуют иные сочетания и являются моментами совсем различных процессов. Признаки сходства еще не говорят о тождестве порядков, — утверждал ученый, — и сходные элементы, особенно в начале процесса, неодинаково комбинируясь, образуют в окончательном складе совсем различные общественные формации. Научный интерес представляют не эти элементы, а условия их различных образований» [200, с. 362].

Так устами Ключевского русский историзм начала XX в., отстаивая дорогую для себя мысль о неповторимости и своеобразии родной старины, уже не пытался отрицать явные черты сходства с европейским путем развития, но старался ограничить их значение, подчеркивая различия «общественных формаций». Однако теперь уже речь шла не об абсолютном контрасте между Западом и Россией (как в работах С. М. Соловьева), а только о различных сочетаниях одних и тех же «элементов». По словам Ключевского, в российской исторической жизни наблюдается «действие тех же исторических сил и элементов общегития, что и в других европейских обществах; но у нас эти силы действуют с неодинаковой напряженностью, эти элементы являются в ином подборе, принимают иные размеры, обнаруживают свойства, незаметные в других странах. Благодаря всему этому общество получает своеобразный состав и характер, народная жизнь усваивает особый темп движения, попадает в необычные положения и комбинации условий» [там же, с. 26].

Но к тому времени, когда были написаны эти слова (1903), в печати уже появились статьи молодого историка Николая

Павловича Павлова-Сильванского (1869–1908), в которых решительно и бескомпромиссно проводилась мысль о принципиальном сходстве удельных порядков на Руси с западноевропейским феодализмом. Показательно, что автор этих статей, в которых сравнительно-исторический метод был впервые систематически применен к материалу отечественной истории, не сделал академической карьеры, не имел доцентского или профессорского звания, а служил чиновником в Министерстве иностранных дел. Таким образом, Павлов-Сильванский был свободен от «цеховых» условностей и традиций, сковывавших многих ведущих русских историков, занимавших кафедры в университетах.

Кроме того, нужно учесть, что к началу XX в. сравнительно-исторический метод уже не был абсолютной новостью в России: его пропагандировали некоторые специалисты по всеобщей истории (в частности, Н. И. Кареев: [68]), а первыми интерес к нему проявили историки права. Еще в 1879 г. известный юрист, профессор Санкт-Петербургского университета Василий Иванович Сергеевич в своем очерке «Государство и право в истории» посвятил особый раздел тому, что он назвал «сравнительной методой» (так, в женском роде! — *М. К.*). Эта глава представляла собой развернутый комментарий к незадолго до того опубликованным лекциям английского историка Эдуарда Фримана «Сравнительная политика» (1873). По классификации Фримана, сходства в жизни разных народов могут быть трех видов: 1) обусловленные передачей неких установлений друг другу; 2) вызванные действием одинаковых причин; 3) объясняемые общностью происхождения [110, с. 16–23]. Сергеевич подверг ревизии эту классификацию, сведя ее только к двум категориям: 1) сходства, вызванные передачей, включая разные виды заимствований, или 2) обусловленные действием общих причин [107, с. 46–47]. В заключение русский ученый призвал к расширению области сравнений, не ограничивая ее только «родственными племенами» (славянскими, германскими и т. д.). Он указал также на пределы применения «сравнительной методики», которая, по его словам, «может только пролить некоторый свет на то, что не совершенно ясно, и то в весьма общих чертах, но никогда не в состоянии помочь нам восстановить подробности института, о которых молчат наши источники»

[там же, с. 50]. Иначе говоря, В. И. Сергеевич не признавал за сравнительным методом возможности установления новых фактов, сводя его задачу к объяснению уже известных явлений.

Годом позже Максим Максимович Ковалевский, один из основателей отечественной социологии, начинавший свою карьеру как историк права, опубликовал брошюру «Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права» (1880), в которой он, подчеркнув отличия этого метода от простого сопоставления [102, с. 9], наметил его задачи как в деле построения «совершенно новой науки — истории естественного роста человеческих обществ» (называемой автором также «новой ветвью описательной социологии»), так и в качестве необходимого приема изучения истории права того или иного народа [там же, с. 22, 69–70].

Таким образом, в России, как и в Европе в целом, сравнительный метод, прежде чем утвердиться в исторической науке, сначала зарекомендовал себя в соседних дисциплинах: истории права (в XIX в. смыкавшейся в том, что касалось изучения «древнейшего быта» народов, с этнографией или антропологией) и нарождавшейся социологии. Появились и конкретные историко-юридические исследования, выполненные в сравнительном ключе: в качестве примера можно привести книгу В. Н. Латкина о земских соборах Древней Руси, которые автор сопоставил с западноевропейскими сословно-представительными учреждениями и пришел к выводу о «поразительном сходстве» этих собраний, сходстве, свидетельствующем, по его мнению, о том, что они являются «видами одного и того же рода учреждений и не составляют исключительной принадлежности какого-нибудь одного народа, а присущи всем европейским народам и вызваны к жизни одними и теми же причинами, так как ни о каких заимствованиях в данном случае не может быть и речи» [205, с. 406].

Но ни одна из подобных работ не имела такого резонанса, как статьи, а затем книга Н. П. Павлова-Сильванского «Феодализм в древней Руси» (1907)<sup>2</sup>. Это исследование также несло на себе от-

---

<sup>2</sup> Подробный разбор сравнительно-исторических работ Н. П. Павлова-Сильванского о русском феодализме и откликов на них дан в статье Л. В. Черепнина [224, с. 128–133].

печатак историко-юридической традиции: автор последовательно доказывал наличие на Руси в удельный период, датируемый им концом XII — серединой XVI в., всех основных феодальных институтов: сеньории (боярщины), бенефиция (поместья), иммунитет, патроната (закладничества), вассалитета и т. д. Юридический схематизм построений Павлова-Сильванского не укрылся от внимания критиков: уже в отклике на его статью «Феодальные отношения в удельной Руси» (1901) Ф. В. Тарановский, соглашаясь с трактовкой Павловым-Сильванским ряда древнерусских институтов и признавая их соответствие феодальным порядкам, отмечал: еще рано утверждать, что автор доказал существование на Руси феодализма — это пока «скелет» феодализма, а для убедительного решения поставленного историком вопроса необходимо изучить экономическую почву описанных им институтов [216].

Реагируя на критику, Павлов-Сильванский в посмертно изданной книге «Феодализм в удельной Руси» (1910) подробно остановился на волостной общине и боярщине как основных хозяйственных и социальных структурах русского феодализма [210, с. 152–356]. Но, думается, секрет успеха Павлова-Сильванского и причина всеобщего внимания к его работам со стороны коллег заключались не столько в убедительности проводимых ученым параллелей с западноевропейским феодализмом или основательности разработки отдельных аспектов темы, а в масштабе задуманного им исследования, в той смелости, с которой он брался за пересмотр коренных вопросов русской истории, вступая в полемику с корифеями тогдашней науки: С. М. Соловьевым, В. О. Ключевским, П. Н. Милюковым, М. Ф. Владимирским-Будановым. По крайней мере часть этого успеха нужно приписать умелому использованию Павловым-Сильванским сравнительного метода, который служит историку не для иллюстрации готовых тезисов, а применяется в качестве рабочего инструмента, организуя материал и придавая цельность исследованию.

Известный специалист по истории Европы Николай Иванович Кареев, который сам был горячим сторонником внедрения сравнительного метода в исторические исследования, отмечал, что Павлов-Сильванский, возможно, доказывал больше, чем можно было доказать, говорил о тождестве там, где можно было говорить

лишь о сходстве, находил сходство там, где в сущности его было мало, нередко умалчивал о чертах различия или преуменьшал их значение [195, с. 142]. И тем не менее, признавал Кареев, сколько бы ни было дефектов в теории Павлова-Сильванского, эта теория «стоит на прочной почве сравнительно-исторического изучения» [там же, с. 143].

Хотя наиболее запоминающимся выводом из работы Павлова-Сильванского был тезис о полном совпадении удельных порядков на Руси с европейским феодализмом: «В удельной Руси мы на каждом шагу встречаем те же самые воззрения, те же самые отношения, те же самые учреждения, что и в феодальной Европе» [210, с. 441]), — этот вопрос служил лишь отправной точкой для его концепции, охватывавшей всю историю России и последовательно сопоставлявшей ее ход с соответствующими этапами европейской истории. По мысли ученого, после расцвета феодальных отношений, пришедшегося на удельный период, в России, как и в Европе, сложился сословный строй: «Московское царство XVII в., — писал Павлов-Сильванский, — по своей структуре одинаково с западноевропейской сословной монархией, и в начале XVIII в. эта сословная монархия у нас, подобно Западу, превращается в монархию абсолютную» [там же, с. 126]. Тем самым ученый радикально пересматривал традиционную периодизацию отечественной истории: «Историю нашу, — полагал он, — никак нельзя делить на две эпохи: допетровскую и петровскую, как делали прежде. Время Петра Великого есть только один из этапов развития государства нового времени, которое в основных своих устоях сложилось у нас в XVI в. и просуществовало до половины XIX. XVII и XVIII столетия, а часть и XIX тесно связываются в один период. Они связываются в одно целое, как сословная и абсолютная монархия, лежавшим в основе государственного порядка сословным строем» [там же, с. 147].

Теория Н. П. Павлова-Сильванского оказала большое влияние на последующую историографию; ряд ее положений с некоторыми модификациями вошел в монографии и учебники советских ученых, и поэтому тезисы о русском феодализме или российском абсолютизме вряд ли сегодня кого-либо удивят. Но хотя радикальная новизна выводов этого выдающегося ученого сглажена временем, его

работы по-прежнему принадлежат к числу наиболее значительных сравнительно-исторических исследований, написанных в России.

Первые десятилетия XX в. стали периодом подъема отечественной компаративистики: не успела стихнуть дискуссия вокруг концепции Н. П. Павлова-Сильванского, как началась публикация 12-томного труда Николая Александровича Рожкова (1868–1927) «Русская история в сравнительно-историческом освещении»<sup>3</sup>.

В мировоззрении Н. А. Рожкова экономический детерминизм сочетался с весьма распространенным тогда представлением о циклическом характере истории (уместно напомнить о «Закате Европы» О. Шпенглера, вышедшем одновременно с первыми томами труда Рожкова и имевшем шумный успех). Ученый настаивал на том, что явления и процессы в истории повторяются в сходном, хотя и не тождественном виде, и это дает возможность открытия закономерности в развитии общества [212, т. 1, изд. 2, с. 11]. Установление подобной закономерности, по мнению Рожкова, и являлось целью сравнительно-исторического метода [там же, с. 439].

Историк выделил девять периодов, через которые прошла каждая достаточно долго существовавшая культура: 1) первобытная эпоха; 2) общество дикарей; 3) дофеодалное, или варварское, общество; 4) феодальная революция; 5) феодализм; 6) дворянская революция; 7) господство дворянства (старый порядок); 8) буржуазная революция; 9) капитализм [там же, с. 21–22]. Правда, как выяснилось в ходе дальнейшего изложения, до стадии буржуазных революций, с которой Рожков начинал эпоху новейшей истории, дожили лишь европейские общества: прочие культуры погибли раньше [там же, т. 8, с. 5].

Наибольшую ценность из этого многотомного труда имеют, на мой взгляд, те разделы, которые соответствуют научной специализации автора, т. е. главы, посвященные истории Северо-Восточной (Московской) Руси XIII–XVII вв.: они наполнены конкретным материалом и содержат оригинальные наблюдения, представляющие

---

<sup>3</sup> Первое (полное) издание «Русской истории в сравнительно-историческом освещении» было осуществлено в 1919–1926 гг.; в 1923 г. вторым изданием были выпущены первые пять томов [212].

интерес для исследователей той эпохи [там же, т. 2, изд. 2, с. 1–85; т. 3, изд. 2, с. 5–75; т. 4]. Зато, например, пассажи о продолжавшемся 1700 лет (с IV в. до н. э. по XIV в. н. э.) падении феодализма в Китае [там же, т. 3, изд. 2, с. 276] или о дворянской революции в Древней Греции и Риме [там же, т. 6, с. 216–274] производят впечатление прихотливой игры ума. В целом о труде Н. А. Рожкова можно сказать то же, что и об упомянутых выше (см. гл. 3) амбициозных проектах О. Шпенглера и А. Тойнби: когда стремление найти в замкнутой системе место для некоей эпохи или цивилизации (словно в гербарии — для засушенного растения) становится самоцелью, теряется исследовательская перспектива, а сравнение просто перестает «работать», когда его задачи сводятся к подбору иллюстраций для готовой схемы.

Тома «Русской истории в сравнительно-историческом освещении» выходили уже в Советском Союзе, в котором марксистское учение постепенно приобретало статус непререкаемой истины. И если концепция Н. А. Рожкова с ее девятью периодами развития человеческого общества не оказала заметного влияния на последующую историографию, то теория смены общественно-экономических формаций, которых марксисты насчитывали пять (первобытная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая), стала для советских ученых концептуальной основой постижения мировой истории.

Казалось бы, марксистское учение с присущей ему уверенностью в единстве мирового исторического процесса должно было способствовать развитию сравнительно-исторических исследований. Однако опыт советской историографии, в которой это учение безраздельно господствовало, доказывает обратное. Суть проблемы удачно сформулировал израильский историк Михаэль Конфино: «Марксистский исторический материализм предполагал, что ему точно известен путь, по которому идет история, и цель, к которой она движется. Исторический процесс единообразен, последователен и прогрессивен <...> и следует “стадиальной теории” линейной эволюции в соответствии с “законами” истории, действующими повсюду. Делает ли подобное мировоззрение сравнительную историю полезной или, скорее, излишней, даже бессмысленной?» [167, с. 100].

Любая теория, претендующая на знание истинного хода истории (не важно, циклического или прогрессивного), отводит эмпирическим исследованиям, в том числе сравнительным, в лучшем случае второстепенную роль: в этом отношении исторический материализм похож на концепции Шпенглера, Рожкова и Тойнби. Важное отличие состоит, однако, в том, что догматизированное марксистское учение стало в СССР частью официальной идеологии, и потому его парализующее воздействие на компаративистику оказалось гораздо более сильным и длительным.

В середине 1930-х гг. сравнительный метод, как впоследствии с сожалением признавали сами советские ученые, практически исчез из отечественных исторических исследований<sup>4</sup>. Кое-кто даже поспешил заявить, будто данный метод присущ только «буржуазной науке» (это мнение оспорила в 1971 г. Е. Э. Печуро: [34, стб. 758]).

Вместо развернутых сравнительных исследований советские историки в 1940–1950-х гг. нередко прибегали к поверхностным аналогиям, основанным на убеждении в синхронности развития России и других стран. Так, академик М. Н. Тихомиров в монографии о древнерусских городах утверждал, что они «развивались примерно в таком же направлении, в каком развивались средневековые города Запада и Востока» [217, с. 5]. Не приводя никаких данных о состоянии городского ремесла и торговли в средневековой Европе, ученый тем не менее заявлял, что русские города домонгольского времени «по уровню развития ремесла и торговли нисколько не уступали городам западноевропейским, а в некоторых отношениях и превосходили их» [там же, с. 66–67]. Столь же высоко историк оценивал и политическую активность русских горожан, их борьбу за городские вольности: «При благоприятных условиях, — писал он, — русские города могли бы вырасти в такую же мощную силу, какой они сделались в Западной Европе, но этому помешали печальные обстоятельства — в первую очередь

---

<sup>4</sup> На это обстоятельство было обращено внимание в коллективном докладе «Переход от феодализма к капитализму в России», положенном в основу состоявшейся в Москве в июне 1965 г. Всесоюзной дискуссии по указанной теме [211, с. 6].

татарские погромы, опустошившие Русскую землю» [там же, с. 185].

Применительно к истории религиозных идей аналогичный подход продемонстрировал А. И. Клибанов, усмотрев в выступлениях русских еретиков XIV–XVI вв. «критику феодализма» и назвав их, по аналогии с известным европейским феноменом, «реформационными движениями» [199, с. 5–6].

С наступлением хрущевской «оттепели» историки почувствовали бóльшую творческую свободу, оживились дискуссии, и вновь был поставлен вопрос о применении сравнительно-исторического метода. В частности, об этом говорили многие участники Всесоюзной дискуссии о переходе от феодализма к капитализму в России (июнь 1965 г.), причем наряду с общими пожеланиями, вроде указания на необходимость сравнения развития нашей страны и Западной Европы в связи с проблемой российской отсталости [211, с. 122], и рекомендацией «широко применять методы сравнительно-исторического исследования, сопоставляя разные районы Российской империи» [там же, с. 387], звучали и конкретные замечания относительно приемов сравнения, используемых в советской исторической литературе. Так, Н. И. Павленко протестовал против подмены сравнительного метода цитатами из работ Маркса и Энгельса, относящимися к Англии или Франции и используемыми в качестве эталона, с которым сравниваются русские реалии: в лучшем случае таким путем обнаруживают «своеобразие» России, а в худшем — механически переносят на нее оценки, высказанные классиками марксизма по поводу западноевропейских явлений и процессов [там же, с. 113]. В качестве примера историк сослался на известную марксистскую формулу, объясняющую возникновение европейского абсолютизма равновесием классов буржуазии и дворянства: эта формула получила широкое распространение и в литературе о русском абсолютизме, между тем не удалось обнаружить фактов, свидетельствующих о классовом равновесии между буржуазией и дворянством в России XVII–XVIII вв. [там же, с. 113–114].

Поставленный Н. И. Павленко вопрос вскоре стал предметом большой дискуссии об абсолютизме, которая в течение нескольких лет (1968–1971) велась на страницах главных советских исто-

рических журналов — «Истории СССР» и «Вопросов истории». Итоги дискуссии подвел ее инициатор А. Я. Аврех в статье с характерным названием «Утраченное “равновесие”»<sup>5</sup>.

Более свободное отношение советских историков к марксистской теории и протест некоторых из них против догматизма и цитатничества не случайно совпали с возрождением интереса к сравнительному методу. Но сразу же возникли проблемы с его применением — в частности, проблема выбора объектов сравнения. Так, в упомянутой выше дискуссии 1965 г. о генезисе капитализма в России М. Т. Белявский говорил о недопустимости использования Англии в качестве эталона для изучения социально-экономических процессов в России и о желательности их сравнения с аналогичными процессами в Пруссии, Польше, Австрии [211, с. 307]. А. Н. Чистозвонов (специалист по истории Нидерландов) возражал против выборочных и произвольных сравнений между экономическим развитием России XVI–XVII вв. и Западной Европы того же времени, между Крестьянской войной 1525 г. в Германии и событиями в России начала XVII в. [там же, с. 354–356].

К началу 1970-х гг. сравнительно-исторический метод получил полное признание в советской науке, о чем свидетельствовало появление посвященной ему статьи в авторитетном издании — Советской исторической энциклопедии. Рассказав о формировании этого метода начиная с древнейших времен, автор (Е. Э. Печуро), однако, посетовала на то, что его «теоретические принципы и практическое применение <...> не получили еще в советской историографии достаточной специальной разработки» [34, стб. 758]. Но и десять лет спустя в этом отношении мало что изменилось: в 1981 г. философ Э. Л. Мелконян констатировал «факт эпизодического применения сравнительного метода в советской исторической науке» [76, с. 63] и подчеркивал, что он является «одним из наименее разработанных в логико-методологическом отношении» [там же, с. 120].

Причины слабой разработанности сравнительного метода в советской историографии (несмотря на многократные заявления

---

<sup>5</sup> См.: Аврех А. Я. Утраченное «равновесие» // История СССР. 1971. № 4. С. 60–75.

о его полезности и перспективности) понятны: короткая «оттепель» сменилась новыми идеологическими «заморозками», а в этих условиях пространство для методологических поисков было очень ограниченным и многие ученые рискованным экспериментам предпочитали спокойные занятия в найденной ими в рамках научной специализации «нише».

Редким исключением, лишь подтверждающим общее правило, может служить новаторская книга А. Я. Гуревича «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе» (1970), вызвавшая большое неудовольствие чиновников от науки. В этой работе выдающийся медиевист, опираясь на изученный им скандинавский материал и проводя параллели с некоторыми английскими, древнерусскими, византийскими институтами, оспорил традиционную модель феодализма, построенную на данных, заимствованных из одного региона средневековой Европы — Северной Франции. Вопреки представлениям, укоренившимся в советской историографии, Гуревич рассматривал феодализм как систему не вещных, а межличностных отношений зависимости [161]. Однако гораздо чаще под пером советских историков сравнение играло более скромную роль, создавая фон или перспективу для рассмотрения изучаемого явления, но без радикальных выводов и покушения на принятые в науке «основы». Таков, например, опубликованный в виде статьи доклад Л. В. Черепнина и В. Т. Пашуто, сделанный на XIV международном конгрессе исторических наук в Сан-Франциско (1975), об образовании Русского централизованного государства в сравнительно-историческом аспекте [225], а также заключительный раздел в посмертно опубликованной монографии академика Л. В. Черепнина о земских соборах (1978) [223, с. 397–401].

Дальнейшее ослабление идеологического контроля над наукой в годы «перестройки» и последовавший вскоре распад СССР дали новый импульс развитию компаративистики в нашей стране. В 1990-х и 2000-х гг. появилось немало сравнительно-исторических исследований, большая часть которых посвящена средневековому периоду. Так, формирование древнерусской государственности было сопоставлено с аналогичными процессами в Центральной Европе и Скандинавии [207, 226]. Проводилось сравнение политического строя и структур управления двух сосед-

них государств — Литовского и Московского в XV–XVI вв. [193, 203]. Предпринимались и попытки сравнительно-типологического изучения Русского государства того времени [196, 197, 201].

Особого упоминания заслуживает цикл работ Бориса Николаевича Флори (р. 1937), в которых проведено систематическое сравнение социальных и политических процессов в средневековой Центральной и Восточной Европе. В монографии «Отношения государства и церкви у восточных и западных славян» (1992) исследователь убедительно показал, что в раннем Средневековье положение духовенства в Польше и Чехии, с одной стороны, и на Руси — с другой, было по сути одинаковым. Существенные различия возникли в XIII–XIV вв., когда в Центральной Европе духовенство сумело добиться автономии от светских властей и образовало особое сословие, а в Восточной Европе (в Русском государстве и Великом княжестве Литовском) этого по разным причинам не произошло [219].

В ряде статей, написанных одновременно с книгой, Б. Н. Флоря показал наличие в Северо-Восточной Руси XIV–XV вв. и Великом княжестве Литовском XV–XVI вв. следов существования системы централизованной эксплуатации зависимого населения, известной в Польше и Чехии XI–XIII вв. и описанной в научной литературе под названием «служебная организация». Это были поселения ремесленников, поставщиков различных продуктов питания (бортники, рыболовы, охотники и т. д.), обслуживавших нужды княжеского хозяйства. Причем если в Центральной Европе в XII–XIII вв. наблюдался уже упадок этой системы, то в Восточной Европе она просуществовала до XV–XVI вв., что дает исследователям широкие возможности для сопоставления указанного явления в разных регионах [220, 221].

Отечественные ученые, изучающие историю Нового и новейшего времени, гораздо реже пользуются сравнительным методом. Среди тем, которые интересуют компаративистов применительно к XVIII–XX вв., выделяется сравнительная история империй и колониализма [186, 190, 213].

Абсолютное большинство сравнительно-исторических исследований, изданных в постсоветской России, написано специалистами по отечественной истории, но предложенные ими параллели

и сопоставления не складываются в единую картину. С какими странами целесообразно сравнивать средневековую Русь или Российскую империю? В какой мере процессы, происходившие в нашей стране на разных этапах ее истории, синхронны с теми, что имели место в других частях Европы или мира? На эти вопросы нет однозначных ответов в имеющейся литературе. В заключительной главе книги (см. ч. III, гл. 5) мы подробно поговорим о том, какой сейчас видится история России в сравнительной перспективе.

Одна из проблем современной российской компаративистики состоит в полном отсутствии методологических дискуссий и слабой информированности о нынешнем состоянии сравнительно-исторических исследований в мире. Главы, посвященные сравнительному методу в отечественных учебниках по методологии истории (см.: [67, 69, 70, 72]), свидетельствуют о том, что его разработка в нашей стране за минувшие десятилетия, несмотря на все призывы, не продвинулась ни на шаг. Проблеме сравнительного метода в истории целиком посвящена следующая часть данного учебного пособия.

**ЧАСТЬ II**

**ИСТОРИЧЕСКАЯ  
КОМПАРАТИВИСТИКА  
В ПОИСКАХ МЕТОДА**



### А ЕСТЬ ЛИ МЕТОД?

Как было показано в первой части книги, сравнение в истории существует с незапамятных времен, но только с конца XIX в. историки под влиянием естественных и социальных наук, в которых широко применялся сравнительный метод, также заговорили о его использовании в своих исследованиях. Характерно при этом, что поначалу сам сравнительный метод считался единым, общим для всех наук, и споры велись, главным образом, о том, насколько плодотворным будет его применение в истории. Если Ш.-В. Ланглуа в статье 1890 г., а позднее его коллеги Г. Глотц и Л. Давийе возлагали большие надежды на этот метод, то тот же Ланглуа в написанном совместно с Ш. Сеньобосом учебнике «Введение в изучение истории» (1898), а также Э. Бернгейм и ряд других немецких ученых высказывали сомнения по поводу целесообразности его использования в исторических исследованиях [см. выше, ч. I, гл. 2 и 3].

Впоследствии, однако, возникла мысль о том, что историки нуждаются в особом, разработанном специально для нужд их науки сравнительном методе. Эту мысль уже в 1913 г. отчетливо высказал известный русский ученый Н. И. Кареев: имея в виду введенное неокантианцами деление наук на номотетические и идиографические, он писал о том, что «сравнительное изучение исторических фактов представляет собою мост, перекинутый с берега истории на берег социологии. Оно может служить и задачам исторического (идиографического) знания и целям знания социологического (номологического)» [68, с. 193]. Кареев указывал на то, что в «общих исторических методологиях <...> вопрос о сравнительном методе в идиографических целях остается неразработанным» [там же, с. 187, примеч. 1].

Как мы помним, Марк Блок в ставшей впоследствии знаменитой статье «К сравнительной истории европейских обществ» (1928) охотно цитировал лингвиста Антуана Мейе и антрополога Джеймса Фрэзера, но он не стал заимствовать у них или у других представителей социальных наук разработанные ими приемы сравнения, а вместо этого на примере собственных работ постарался продемонстрировать коллегам-историкам эвристические возможности сравнительного метода и «некоторые практические способы» его использования [32, с. 65].

Разработка сравнительно-исторического метода была продолжена в 1960-е гг. В частности, Теодор Шидер на основе описанных им пяти функций сравнения выделил соответствующие формы сравнительного метода в истории: парадигматическую, аналогическую, обобщающую, индивидуализирующую и синтетическую [77, с. 165]. Впрочем, из-за нечеткости авторской терминологии остается неясным, идет ли речь о формах одного-единственного метода или о сосуществовании разных методов: в заглавии статьи употреблено множественное число («сравнительные методы в исторической науке»), а в тексте в основном говорится о «методе» в единственном числе [там же, с. 143, 145, 146, 148, 150 и др.], но в итоговых выводах опять появляются «методы» [там же, с. 165–167], причем два из них прямо упомянуты: «индивидуализирующий» и «обобщающий» [там же, с. 165].

Американский историк Уильям Сьюэлл в основу своих размышлений о сравнительном методе в истории положил работы Марка Блока — прежде всего его классическую статью 1928 г. По мнению Сьюэлла, при всем разнообразии полезных функций сравнения, отмеченных французским ученым, все они имеют общую логику — логику проверки гипотез [84, с. 209]. В одном отношении американский исследователь готов поспорить со своим маститым предшественником: он не согласен с предпочтением, которое Блок отдавал сравнению соседних и современных друг другу обществ. По мнению Сьюэлла, сравнение удаленных друг от друга во времени и пространстве социальных систем может быть не менее плодотворным: в качестве примера он указывает на сравнение Германии и Японии в рамках исследования индустриализации [там же, с. 215]. Кроме того, ученый счел необходимым

указать пределы возможностей сравнительного метода (чего Блок в свое время не сделал). Самое важное ограничение Сьюэлл описал так: *«Сравнительный метод — это метод, набор правил, которые могут быть методически и систематически применены при сборе и использовании данных для проверки объяснительных гипотез. Он не снабжает нас объяснениями, подлежащими проверке: это — задача исторического воображения»* [там же, с. 217] (выделено Сьюэллом. — М. К.).

В работе Сьюэлл также обращает на себя внимание уточнение разных значений термина «сравнительная история»: сравнительный метод, которому посвящено основное содержание его статьи, — это лишь одно из подобных значений. Под «сравнительной историей» можно также понимать сравнительную перспективу, т. е. рассмотрение исторических проблем в более широком контексте, выходящем за рамки конкретных обстоятельств места и времени. Сравнительная перспектива не имеет тех ограничений, которые свойственны сравнительному методу, но по той же причине она не может быть сведена к набору простых правил. Однако большинство историков, подчеркивает Сьюэлл, понимают под сравнительной историей не метод или перспективу, а некое предметное содержание, т. е. исследования, в которых систематически применяется сравнение двух или более обществ, а результаты представляются в сравнительной форме. И тем не менее ученый рекомендует не сводить термин к такому ограниченному использованию, подчеркивая ценность сравнительного метода и сравнительной перспективы для всех историков [там же, с. 218].

Классическая статья Марка Блока и в дальнейшем продолжала служить источником вдохновения для компаративистов, однако со временем уверенность историков в существовании особого сравнительного метода стала пропадать. Переломным в этом отношении был 1980 г.

Алетт и Бойд Хиллы в статье «Марк Блок и сравнительная история» (1980) показали, что знаменитый французский ученый на практике отнюдь не следовал лингвистической модели сравнения, заимствованной им, по его словам, у Антуана Мейе и рекомендованной коллегам-историкам [81, с. 832–834]. Это, по-видимому, действительно так, и о подобном амбивалентном отношении

крупнейшего историка XX в. к социальным и гуманитарным наукам уже шла речь выше (см. ч. I, гл. 3). Но американские исследователи не остановились на констатации данного факта: подчеркнув недостаток «точности и последовательности» в высказываниях М. Блока по поводу методологии сравнительной истории, они отметили, что «изъяны» (*flaws*) в его суждениях о ценности лингвистической модели, в силу огромного влияния мэтра на всю последующую историографию, были воспроизведены в трудах его учеников; так сложилась методологическая традиция, нуждающаяся в критическом пересмотре [там же, с. 837–838]. В качестве примеров такой традиции Хиллы привели редакторское предисловие Сильвии Трапп к первому номеру «Сравнительных исследований общества и истории» (1958) и только что процитированную мной статью Уильяма Сьюэлла о Марке Блоке и логике сравнительной истории (1967): ни в одной из этих работ, по справедливому замечанию критиков, не содержалось четкого определения сравнительного метода в истории [там же, с. 838, 840].

В последовавшей затем дискуссии У. Сьюэлл и С. Трапп, ставшие объектом критики в статье Хиллов, выступили в защиту «отца-основателя» исторической компаративистики от несправедливых, по их мнению, нападок. Уильям Сьюэлл признал убедительным вывод авторов о том, что в своих сравнительно-исторических исследованиях Блок не следовал лингвистическим правилам и что его аналогия между сравнительной историей и исторической лингвистикой основана на неверном понимании и способна лишь ввести в заблуждение. Однако американский историк решительно отверг идею Хиллов о том, что сравнительная лингвистика в принципе может служить образцом для сравнительной истории: по его мнению, «строгое применение лингвистических методов к сравнительной истории невозможно, поскольку социальные структуры отличаются по своему характеру от языковых структур» [85, с. 848]. Кроме того, отвечая на критику, Сьюэлл заявил, что, несмотря на свойственную Блоку «недостаточную теоретическую строгость» (*lack of rigor as a theorist*), «он на практике (курсив У. Сьюэлла. — М. К.) выработал сравнительный метод, который был последовательным, логически связным и соответствующим предметному содержанию истории» [там же, с. 850]. Ссылаясь на

свою, уже известную нам, статью, Сьюэлл утверждал, что сравнительная история, как ее практиковал Блок, была пронизана единой логикой проверки гипотез, и поэтому его практику сравнения можно использовать для выработки методологических правил, которые в теоретических работах самого Блока выражены лишь частично и несовершенно [там же].

В свою очередь, Сильвия Трапп отнесла статью Хиллов к жанру «мифотворчества» и указала на ряд неверно понятых ими мест в работах Блока. По ее мнению, слабость их тезиса об ошибочной методологии, которую после смерти мэтра распространяли и увековечили его «ученики», становится ясна на фоне происходящей во всех дисциплинах диверсификации сравнительных методов, а также того факта, что многие ученые, с которыми Трапп приходилось встречаться, разделяли некоторые взгляды Блока по поводу метода, даже не будучи знакомы с его работами [там же, с. 853]. Впрочем, одну ошибку великого историка она была все-таки готова признать: по ее мнению, он напрасно придерживался термина «сравнительная история», который, по словам Трапп, «так же нелеп, как и понятие “сравнительная религия”» [там же, с. 852].

Безусловно, попытка объяснить недостаточную разработанность сравнительно-исторического метода тем, что историки не поняли или не сумели применить более «передовую» методологию сравнительной лингвистики, выглядела прямолинейно и не слишком убедительно. Однако защитники компаративистского наследия Марка Блока не смогли дать четкого ответа на вопрос Хиллов о том, в чем, собственно, состоит сравнительный метод в истории; такой метод, как следовало из комментария Сьюэлла, еще предстояло создать.

В том же октябрьском номере журнала *American Historical Review* за 1980 г., в котором появилась статья Хиллов и реакция на нее У. Сьюэлла и С. Трапп, была опубликована и работа Реймонда Гру, в которой он прямо заявил о том, что в истории нет сравнительного метода. Во введении к данной книге я уже приводил это радикальное суждение американского историка, много лет возглавлявшего профильный журнал по компаративистике — «Сравнительные исследования общества и истории». Теперь пришло время подробно проанализировать его аргументацию.

Итак, Гру утверждал, что сравнительного метода в истории не существует: «“Сравнительный метод”, — писал он, — это выражение, столь же напоминающее о XIX веке, как и “исторический метод”, с которым когда-то оно было почти синонимично. Для историков, по крайней мере, идея сравнения все еще нуждается в демистификации» [43, с. 776]. По мнению ученого, «историческое сравнение не больше привязано к одному-единственному методу, чем сама дисциплина истории» [там же].

По поводу предложенного Дж. С. Миллем и часто цитируемого отличия между «методом согласия» и «методом различия» Гру замечает, что оно является вкладом в логику, но оставляет простор для разных видов сравнений в зависимости от того, изучает ли исследователь новые вопросы, определяет проблему, устанавливает общие модели или проверяет гипотезу. Критерии выбора элементов для сравнения, как и критерии проверки внутренней логики или релевантности используемых данных в сравнительном исследовании, принципиально не отличаются от тех, что применяются в любом социальном анализе. «Нет даже общих правил, — утверждает Гру, — за исключением правил логики, но они применяются по-разному в соответствии с [поставленной] целью» [там же].

Но если историческое сравнение — это не метод, то чем же оно тогда является? Надо признать, что ответ Р. Гру на этот вопрос особой определенностью не отличается: «Призывать к сравнению, — пишет он, — означает призывать к [занятию] некой позиции (attitude) — открытой, вопрошающей, нацеленной на поиск (searching), — и предлагать некоторые практики, которые могут поддержать ее, просить историков мыслить проблемами и осмеливаться самостоятельно определять эти проблемы, а также утверждать, что даже самое специальное исследование должно быть задумано в терминах более общих задач многих ученых во многих областях. Призыв к сравнению, однако, ничего не говорит о том, как хорошо сделать хотя бы что-то из этого» [там же].

Статью Реймонда Гру можно назвать «манифестом методологического анархизма» применительно к исторической компаративистике: никаких правил сравнения нет, как нет и разницы между сравнительным и любым другим историческим исследованием.

Если в процитированной выше статье Сьюэлла 1967 г. рядом со «сравнительным методом», ограниченным набором правил, фигурировала более широкая «сравнительная перспектива», то у Гру эта размытая «перспектива» заняла место метода.

Он, правда, делает оговорку о том, что признание того, что сравнение не содержит особого метода, не означает отрицания важности методологии. Бихевиористские, количественные, индуктивные и дедуктивные методы, формальные модели и теории изменений, — все они, по словам Гру, могут применяться в сравнительном исследовании [там же, с. 777]. Едва ли, однако, этот «методический совет» чем-то поможет компаративисту, нуждающемуся не в общих напутственных словах, а в конкретных рекомендациях для своей работы.

Статья Реймонда Гру оказала заметное влияние на историографию, особенно американскую: некоторые историки (в частности, Питер Колчин и Дебора Коэн) прямо солидаризировались с его мнением относительно «сравнительного метода» [65, с. 75; 40, с. 59], а сам этот термин с тех пор стал реже употребляться в научной литературе. Но ясности в вопросе о том, какова природа исторического сравнения, нет и по сей день. Предлагались разные определения и характеристики, порой даже весьма поэтичные: так, многим понравилось название недавней книги Дж. Фредриксона: «Сравнительное воображение» [27]. Чаще всего, однако, в качестве альтернативы «сравнительному методу» назывался более расплывчатый «подход».

Так, немецкий историк Томас Велскопп в 1995 г. писал: «Сравнительный подход — это не метод, а способ рассмотрения (*Betrachtungsweise*), который при постановке определенных вопросов задает отчетливо сравнительную стратегию исследования» [53, с. 343]. К сходному мнению пришли в те же годы коллеги Велскоппа Хайнц-Герхард Хаупт и Юрген Кокка: по их словам, историческое сравнение — «не метод в строгом смысле, а, скорее, перспектива, прием, подход» [45, с. 12]. Этот же термин — «сравнительный подход» — они последовательно использовали в своих совместных статьях 2000-х гг. [46, с. 25, 26, 28; 49, с. 8, 13, 18, 20].

Однако о каком-то консенсусе или тем более терминологической строгости в современной компаративистике говорить не при-

ходится: многие авторы используют в своих работах и «сравнительный метод», и «сравнительный подход» как взаимозаменяемые термины (порой на одной и той же странице!), очевидно, считая их синонимами [58, с. 599; 29, с. 11; 51, с. 116]. Кроме того, не выходит из широкого употребления совсем уж аморфное понятие «сравнительная история», расстаться с которым давно уже призывали коллег Сильвия Трапп и Реймонд Гру [85, с. 852; 43, 764, 777].

Таким образом, с конца XX в. в исторической компаративистике наблюдается тенденция к замене термина «сравнительный метод», признанного теперь чересчур строгим и обязывающим, более «свободными», но и более расплывчатыми категориями, из которых на первый план выдвинулось словечко «подход». Четкого определения этому понятию никто не попытался дать, но из приведенных выше цитат можно заключить, что под сравнительным подходом понимается некая «перспектива» или набор приемов (Хаупт и Кокка), а также «способ рассмотрения проблем» (Т. Велскопф). По сути, близкими к такому пониманию подхода оказываются и «открытая и вопрошающая позиция (*attitude*)» Р. Гру, и даже «сравнительное воображение» Дж. Фредриксона.

Для уяснения интересующего нас понятия важно обратить внимание на то, что в недавних статьях Ю. Кокки и Х.-Г. Хаупта термином «подход» обозначается не только историческое сравнение, но и приемы, применяемые в таких современных направлениях исследований, как история трансферов, транснациональная и «перекрестная» история (*histoire croisée, entangled histories*) [83, с. 39–44; 49, с. 1, 6, 8, 13, 20, 21], о которых шла речь в одной из предыдущих глав этой книги (см. ч. I, гл. 5). Следовательно, «подходы» ассоциируются в современной историографии с течениями или направлениями, отличающимися друг от друга не методами работы в строгом смысле слова, а мировоззренческими установками, выбором масштаба и сюжетов для исследования, стилем письма и т. д.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Эти и последующие наблюдения основаны, в частности, на изучении таких современных направлений, как историческая антропология, микроистория, новая культурная история и т. д. (см. подробнее: Кром М. М. Историческая антропология: Учебное пособие. Изд. 3-е. СПб.; М., 2010).

Учитывая наблюдаемую в нынешнем академическом дискурсе тенденцию — достаточно заметную, хотя и явно не артикулированную, — к противопоставлению «методов» и «подходов», можно попытаться суммировать имеющиеся наблюдения и представить эти категории в виде двух «идеальных типов» (в веберовском смысле). Это позволит нам понять, на что больше похоже историческое сравнение — на строгий метод или на более расплывчатый подход. При этом за эталон метода мы примем количественные (статистические) методы, применяемые в том числе и в истории, а характеристика современных подходов будет основываться на знакомстве автора с такими направлениями, как историческая антропология, микроистория, история повседневности (*Alltagsgeschichte*), новая культурная история и т. д.

Получившаяся картина представлена в *табл. 1*.

**Табл. 1. Различия между методами и подходами, используемыми в историческом исследовании**

| №  | Признак   | Метод   | Подход  |
|----|---|---|---|
| 1. | Способность к операционализации (легкость описания и воспроизведения) | Легко описывается как последовательность операций и воспроизводится | С трудом описывается и воспроизводится                              |
| 2. | Влияние личности ученого (авторский стиль)                            | Безличность, анонимность  | Ярко выражен стиль автора   |
| 3. | Идеологическая ангажированность                                       | Свободен от какой-либо идеологии, мировоззрения                     | Связан с определенным политическим и научным мировоззрением         |
| 4. | Устойчивость во времени, длительность существования                   | Существует длительное время, слабо подвержен научной моде           | Подвержен научной моде, меняется с приходом нового поколения ученых |
| 5. | Связь с научным направлением  | Не связан с каким-то одним научным направлением                     | Синоним направления в науке   |

Как видим, историки не зря, пусть и на интуитивном уровне, различают методы и подходы (используя порой вместо последнего термина другие слова: «перспектива», «позиция», «воображение» и т. д.): перед нами действительно разные категории инструмен-

тов научного исследования. Метод в первую очередь нацелен на сбор и обработку материала; он безличен (пользователю не важно, кто именно изобрел регрессию или метод интервью), свободен от идеологии, не подвержен научной моде и устойчив к влиянию времени. Подход, напротив, очень изменчив, идеологически заряжен; он несет на себе отпечаток личности своего создателя и придает оригинальность исследованию; это прежде всего комплекс идей и ценностных установок, а не особых методических приемов.

Посмотрим теперь, к какой из этих двух категорий окажется ближе историческое сравнение. По таким критериям, как идеологическая ангажированность, устойчивость во времени и связь с научным направлением (признаки 3–5 в нашей таблице), сравнение ведет себя как метод. Его истоки теряются в глубине веков, но даже если вести отсчет от первых десятилетий XX столетия, когда усилиями Макса Вебера, Отто Хинце, Марка Блока началась систематическая разработка сравнительного метода, то и тогда его «возраст» приближается к столетнему юбилею: за это время сменилось уже немало различных подходов и направлений. По причине столь почтенного возраста неприлично подозревать историческое сравнение в идеологических пристрастиях; его с успехом применяли ученые, придерживавшиеся совершенно разных политических убеждений и научных взглядов: консерваторы и либералы, марксисты и антикоммунисты, феминистки и т. д.

Присуще ли сравнению авторское начало? Разумеется, «Короли-чудотворцы» Марка Блока не похожи на другой выдающийся памятник компаративистики — книгу Александра Гершенкрона «Экономическая отсталость в исторической перспективе». Но ведь в каждой из этих работ помимо сравнения использованы и другие исследовательские приемы, и каждой из них присущ свой неповторимый авторский замысел. Если же говорить собственно о приемах сравнения, то они, безусловно, повторяются: я, например, убедился в эвристических возможностях сравнения на своем исследовательском опыте еще до того, как прочитал о такой функции компаративного метода у Марка Блока.

Но одному признаку «настоящего» метода сравнение, как может показаться, явно не соответствует: не существует однозначного и исчерпывающего описания процедур, которые должен про-

делать историк, чтобы сравнить какие-то события, явления или процессы. Поскольку твердых правил нет (хотя со времен Марка Блока высказано немало полезных рекомендаций относительно тех или иных аспектов исторического сравнения), то компаративисты не застрахованы от ошибок и неудач: «Сравнительная история — чрезвычайно ненадежное занятие», — замечает по этому поводу Дебора Коэн [40, с. 60]. Действительно, в каждом конкретном случае сравнительное исследование приходится выстраивать заново; простое воспроизведение прошлого опыта бесполезно и неэффективно. Но значит ли это, что правы критики, полностью отрицающие наличие сравнительного метода в истории?

Здесь уместно напомнить о том, что в приведенной выше таблице за образец метода были приняты количественные (статистические) методы, а между тем в истории есть и другие (в социальных науках их принято называть качественными): источниковедение, просопография, метод интервью (устная история) и др. Вряд ли кто из историков усомнится в существовании методологии источниковедения, но утверждать, что существует один-единственный метод изучения источников, было бы большой натяжкой; скорее, здесь подойдет множественное число: методы (или методические приемы). Теорию источниковедения невозможно изложить в виде нескольких простых правил: на это нужны целые книги, и таких книг со времен Ланглуа и Сеньобоса, как мы знаем, написано немало. И уж, конечно, любой практикующий историк прекрасно знает, что никакие учебники источниковедения не заменят собственных проб и ошибок. В ремесле историка (а я думаю, что эта метафора, прославленная Марком Блоком, довольно точно улавливает специфику нашей профессии) очень многое определяется талантом и опытом исследователя, а большинство «методов» (за исключением статистических формул) на поверку оказываются просто набором «хороших примеров», заимствованных из научной практики прошлых лет.

Таким образом, я полагаю, что есть столько же оснований говорить о методологии компаративистики, как и о методологии источниковедения. С учетом распространения в современных гуманитарных науках более изменчивых и «эффемерных» практик исследования, которые принято именовать подходами, есть смысл,

на мой взгляд, сохранить термин «методы» за давно существующими и лучше разработанными в методическом плане базовыми приемами анализа, одним из которых является сравнение.

Говоря о базовых приемах исторического исследования, я имею в виду, что запись рассказов очевидцев событий (то, что теперь называется интервью), критический анализ сохранившихся свидетельств (т. е. источниковедение) и сравнение судеб разных народов (компаративистика) практиковались еще в античной историографии, хотя, разумеется, древние греки и римляне не рефлексировали особо над этими приемами и не давали им каких-то специальных названий. В Новое время, по мере профессионализации исторической науки, были детально разработаны источниковедение и специальные исторические дисциплины (с конца XVII до конца XIX в.); позднее, в первой трети XX в., как мы уже знаем, началось становление методики исторического сравнения (и этот процесс еще далек от своего завершения!); а устная история (метод интервью) еще моложе: она ведет свою «родословную» с конца 1940-х гг.

Возвращаясь к вопросу, вынесенному в название этой главы, я отвечу на него так: единого сравнительно-исторического метода как обязательного набора процедур, выполняемых в строго определенном порядке, конечно, не существует. Но методика исторического сравнения успешно развивается в течение почти ста лет благодаря усилиям многих выдающихся ученых, и в этой «копилке» коллективного опыта есть уже немало ценных наблюдений. Очень важен кумулятивный эффект, на недостаточность которого в исторической компаративистике последнего столетия справедливо обратил внимание Б. Кедар: неоднократно повторялась ситуация, когда тот или иной историк, излагая некие принципы сравнения, не знал, что подобные мысли уже высказывались кем-то из его предшественников [48, с. 26]. (Замечу в скобках, что сам этот факт является, на мой взгляд, красноречивым аргументом в пользу тезиса о близости исторического сравнения к методу, а не подходу, см. выше 2-й признак в *табл. 1*).

В последующих главах мы познакомимся с полезными наблюдениями и рекомендациями, накопленными несколькими поколениями историков-компаративистов.

## ФУНКЦИИ СРАВНЕНИЯ И ЕГО СПЕЦИФИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Обращает на себя внимание тот факт, что историки, в отличие от своих коллег-социологов и политологов, никогда не проявляли особого интереса к логическим основам сравнения. В минуты методологической рефлексии (надо признать, менее свойственной представителям нашей профессии, чем специалистам в социальных науках) они предпочитали говорить о задачах или полезных функциях компаративного анализа в изучении прошлого.

В свое время именно такую позицию занял один из основателей современной компаративистики Марк Блок: в статье, предназначенной для «Исторического словаря» (1930), он, процитировав стандартное определение термина «сравнение» как сопоставления двух или более предметов с целью установления черт сходства и различия между ними, замечает: «То, что сравнение, понимаемое таким образом, присуще почти всякому познанию, это само собой разумеется. Важно <...> суметь определить, как эта мыслительная операция, одновременно необходимая и банальная, смогла дать рождение в гуманитарных науках методу очень точного применения — сравнительному. Другими словами, то, что нас будет всецело занимать, это — определение исторического сравнения» [38, с. 32].

Спустя полвека Реймонд Гру, отрицавший, как мы уже знаем, наличие особого сравнительного метода в истории, в одном отношении, однако, рассуждал так же, как Блок: он подчеркивал, что правила логики (включая каноны Милля) не определяют выбора видов сравнения, которые применяются в зависимости от цели, стоящей перед ученым [43, с. 776].

Итак, историки, считая сравнение стандартной логической операцией, сосредоточили основные усилия на определении тех

исследовательских задач, которые могут быть решены с ее помощью. Основы современных представлений о полезных функциях исторического сравнения были заложены в знаменитой статье Марка Блока 1928 г.; впоследствии заметный вклад в разработку этого вопроса внесли Теодор Шидер, Уильям Сьюэлл, Хартмут Кэлбле [77, с. 165; 84, с. 209–211; 29, с. 48–92], а в настоящее время наиболее развернутое описание целей, которые могут быть достигнуты при помощи сравнения, содержится в работах Юргена Кокки и Хайнца-Герхарда Хаупта [44, с. 2400–2401; 83, с. 40–41; 49, с. 3–5].

Именно задачи и функции сравнения определяют специфику его применения в той или иной дисциплине (в нашем случае — в истории). Более того, наблюдая в динамике, как менялись со временем формулировки этих задач, можно заметить важные тенденции в развитии науки.

В статье «К сравнительной истории европейских обществ» М. Блок начал перечисление полезных функций сравнения с указания на помощь, которую оно способно оказать ученому в обнаружении ранее неизвестных явлений, и в качестве примера привел случай из собственной исследовательской практики: открытие им аграрных преобразований в Провансе, аналогичных английским огораживаниям [32, с. 68–71]. В статье для «Исторического словаря», опубликованной двумя годами позднее, он назвал этот эффект сравнения «предложениями для [дальнейших] исследований» [38, с. 36]. В работах современных немецких историков указанная Блоком функция удачно названа эвристической и вместе с приведенным им примером по-прежнему занимает почетное первое место в списке полезных возможностей исторического сравнения [44, с. 2400; 83, с. 40; 49, с. 3].

Могу подтвердить на собственном исследовательском опыте, что эвристическая функция сравнения действительно работает: это эффективный способ переноса научного знания и постановки новых проблем. Ограничусь одним примером. До недавнего времени считалось, что такие явления, как патронат и клиента, т. е. отношения неформального покровительства, не были характерны для допетровской Руси. Но знакомство с обширной литературой, посвященной патронату в Европе XVI–XVIII вв., помогло мне

выработать вопросник такого рода исследования применительно к России: стало ясно, в каких источниках нужно прежде всего искать следы интересующего меня явления (в частной переписке) и какие аспекты темы заслуживают особого внимания (язык патроната, социальные функции покровительства и т. д.). Теперь уже можно сказать, что, подобно другим обществам начала Нового времени, Московия XVI–XVII вв. также была пронизана отношениями патроната и клиентелы, хотя, разумеется, на русской почве эти явления имели свои особенности (см.: [231]).

Другая функция сравнения, которую отметил Блок и действенность которой блестяще продемонстрировал в «Королях-чудотворцах», — выявление направления заимствований и влияний. Современные компаративисты не уделяют должного внимания подобному использованию сравнения (возможно, потому, что данная тематика с недавних пор стала исследовательским полем особого направления — истории трансферов), но я считаю это большим упущением: если мы хотим добиться кумулятивного эффекта в разработке методики сравнительного анализа, то ни одно полезное наблюдение, основанное на практике исследований, не должно быть забыто. Что же касается трансферов разного рода, то сравнению при выявлении источников заимствования и оценке его эффективности принадлежит ключевая роль, что подтверждают, в частности, новейшие работы об использовании иностранных образцов в ходе реформирования русской армии и судебно-административной системы в XVII–XVIII вв. (см. статьи О. А. Курбатова, Д. О. Серова, Г. О. Бабковой в сборнике: [146, с. 231–289]).

Еще одна важная функция сравнения в историческом исследовании — объяснительная, или, по терминологии современных немецких ученых, аналитическая (см.: [29, с. 49 и след.; 83, с. 40–41; 49, с. 4]).

Долгое время историки под объяснением понимали прежде всего поиск причин изучаемых ими явлений, возлагая при этом особые надежды на сравнение. Так, Ш.-В. Ланглуа писал в 1890 г.: «Если историческая наука не состоит исключительно в критическом перечислении явлений прошлого, но, скорее, в изучении законов, регулирующих смену подобных явлений, то, очевидно, ее главным средством должно быть сравнение таких явлений, парал-

тельно протекающих в разных странах; ибо не существует более надежного способа узнать условия и причины [возникновения] конкретного факта, чем сравнить его с аналогичными фактами» [50, с. 259] (выделено Ланглуа. — М. К.).

Марк Блок также рекомендовал внимательно изучать «сходные явления», так как «они позволяют продвинуться еще на шаг вперед в увлекательном поиске причин». По его мнению, «именно здесь сравнительный метод способен оказать историку самую большую помощь, указывая ему путь, ведущий к истинным причинам, а также (или, быть может, «а главное», если начать с услуги более скромной, но совершенно необходимой) отвращая его от некоторых тупиковых направлений исследования» [32, с. 73].

Характерно, однако, что о том, как с помощью сравнительного метода добраться до «истинных причин», Блок ни в цитируемой статье 1928 г., ни в других своих работах так и не объяснил. Зато он убедительно показал важную роль сравнения в определении истинного масштаба изучаемых явлений и в отсеивании локальных — а поэтому часто ложных — причин [там же, с. 74–75]. Отметим, что роль сравнения здесь *отрицательная*: речь идет о том, что У. Сьюэлл на основе анализа работ Марка Блока назвал «логикой проверки гипотез» [84, с. 208–210]. Действительно, достаточно указать хотя бы один случай, аналогичный изученному, но не укладывающийся в предложенное ранее объяснение, чтобы отвергнуть это последнее как несостоятельное. Однако, как справедливо отметил тот же американский исследователь (его суждение на сей счет я уже цитировал в предыдущей главе), возможности сравнительного метода в этом отношении ограничены: снабдить нас новыми объяснениями взамен отвергнутых он не в состоянии [там же, с. 217].

Марк Блок до конца жизни размышлял над проблемой причинности в истории. Многим, наверно, памятны строки, которыми обрывается его последняя книга («Апология истории»), ставшая своего рода научным завещанием великого ученого: «...причины в истории, как и в любой другой области, нельзя постулировать. Их надо искать...» [13, с. 112]. Последующие поколения историков, словно выполняя этот завет, прилежно продолжали поиск причин, но к настоящему времени вера в нашу способность найти

«истинные причины» явлений и событий значительно ослабла, как и надежда на то, что указанную задачу можно решить при помощи сравнения.

Перелом в этом отношении произошел в течение последнего десятилетия. Показательно, что еще в книге Х. Кэлбле (1999) и статьях Х.-Г. Хаупта (2001) и Ю. Кокки (2003) в аналитическую функцию сравнения, наряду с тестированием гипотез, входило и установление причин [29, с. 49; 44, с. 2400–2401; 83, с. 40–41]. Однако в новейшей программной статье Х.-Г. Хаупта и Ю. Кокки, предваряющей изданный под их редакцией сборник (2009), о каузальном анализе речь уже не идет. Теперь говорится о «вкладе сравнения в объяснение исторических явлений», включая критику ложных истолкований, проверку гипотез и обобщений [49, с. 4].

Интересные соображения о проблеме причинности в истории высказали недавно американские компаративисты. Так, Дебора Коэн назвала эту проблему «самой острой» (*the thorniest*) из всех, которые поднимает сравнительная история [40, с. 62]. Говоря о трудностях, связанных с поиском причин в компаративном исследовании, она привела в качестве примера свою книгу о судьбе инвалидов Первой мировой войны в Британии и Германии. В этой работе Коэн попыталась ответить на вопрос, почему немецкие ветераны, получившие сравнительно неплохие пенсии и лучшее в Европе социальное обеспечение, оказались настроены против Веймарской республики, в то время как британские ветераны, на которых сменявшие друг друга в послевоенный период правительства не обращали особого внимания, остались лояльными подданными. Исследовательница пришла к выводу, что решающее значение имело отношение общества к ветеранам и мнение последних о своих согражданах. Остальные важные отличия между двумя странами в 1920–1930-х гг. (разные итоги войны для Германии и Британии, возможности непарламентских действий и т. д.) рассматривались в качестве контекста, а не объяснения [165].

Однако, оценивая спустя несколько лет после выхода книги результаты собственного исследования, Коэн самокритично отметила, что предпринятый ею каузальный анализ, хотя и следовал старой доброй традиции, едва ли может быть признан вполне удовлетворительным. Как могут историки, которые не являются

«рационалистами в белых халатах, работающими в лаборатории», — задает она риторический вопрос — отделить один фактор от другого? И, если мы показали, к примеру, что протестантизм не был необходим для развития капитализма в стране А, значит ли это, что тем самым мы уменьшили его значение в стране Б? Суть проблемы, как справедливо подчеркивает Коэн, — во *взаимодействии* разных факторов, что часто упускается из виду во многих сравнительных исследованиях [40, с. 62, 63].

Трудно не согласиться и с другим замечанием американской исследовательницы — о том, что каждый компаративист, пытающийся объяснить различия, сталкивается с проблемой отделения причины от контекста [там же, с. 63]. На практике, однако, объяснение, предлагаемое историком, оказывается чаще всего именно контекстуальным, т. е. ситуативным, а не причинно-следственным. Иными словами, фактор, признанный ученым для *данной исторической ситуации* решающим, вовсе не является причиной наступивших изменений в *естественно-научном смысле*, т. е. нет никаких оснований утверждать, что именно этот фактор всегда и везде будет приводить именно к таким последствиям.

Проблема не изменится принципиально, даже если число сравниваемых стран возрастет с двух, как в книге Коэн, до, например, пяти, как в исследовании Питера Болдуина о классовых основах европейского «государства всеобщего благосостояния», о котором я упоминал в первой части данного пособия (см. выше, гл. 4). В любом случае интерпретация событий оказывается сложной, учитывающей множество факторов и местных особенностей и никак не сводится к одной-единственной причине (см. итоговые выводы в книге Болдуина: [147, с. 288–299]).

Сам Болдуин в статье, опубликованной в том же сборнике, что и процитированное выше эссе Д. Коэн, также обратил внимание на заметное в последние годы снижение интереса историков к установлению причинных связей. Ученый склонен объяснять эту тенденцию не только лингвистическим поворотом или приоритетом «культурной истории»: «Причинность стали рассматривать, — пишет он, — как часть одержимости монокаузальными, редуccionистскими или, по крайней мере, чересчур скупыми объяснениями, укорененными в прежней и все более старомодной

парадигме социальных наук». По наблюдениям Болдуина, история — и в особенности «культурная история» — гораздо больше интересуется вопросом «что», чем «почему», и больше обращает внимание на сложность, чем на причинные связи<sup>1</sup> [36, с. 18].

Таким образом, по мере того как меняются приоритеты исторической науки, происходит и смена задач, которые ученые пытаются решить при помощи сравнения: если сто лет назад основной целью сравнительного метода считался поиск причин изучаемых явлений, то сейчас, похоже, такая задача вообще снята с повестки дня компаративистики, а ее место заняли иные познавательные цели. Если судить по программным статьям Юргена Кокки и Хайнца-Герхарда Хаупта, то в настоящее время важнейшими функциями сравнения в истории являются эвристическая, дескриптивная (описательная), аналитическая и парадигматическая [49, с. 3–5]. Об эвристической и аналитической сказано уже достаточно; поговорим теперь о двух остальных функциях.

Должен признаться, что термин «описательная (descriptive) функция» кажется мне неудачным: он скорее затемняет, чем проясняет, данный эффект сравнения. Речь идет о профилировании отдельных случаев, выявлении их индивидуальных особенностей. Поэтому более уместным представляется термин, употребленный в предшествующей статье Х.-Г. Хаупта: «контрастное сравнение» [44, с. 2400]. Можно воспользоваться и названием логической операции, которая в данном случае применяется: «индивидуализация», «индивидуализирующее сравнение».

Эту функцию сравнения считали основной Макс Вебер и Отто Хинце (см. выше, ч. I, гл. 3). Марк Блок также видел одну из задач сравнительной истории в «уяснении различий» и в показе «оригинальности» разных видов общества [32, с. 76]. Демонстрируя возможности метода в решении подобных задач, ученый провел

---

<sup>1</sup> В подтверждение справедливости слов Болдуина о внимании современных историков к проблеме сложности сошлюсь на недавно вышедшую статью Джованни Леви, одного из «отцов-основателей» микроистории: *Levi G. Micro-history and the Recovery of Complexity // Historical Knowledge: In Quest of Theory, Method and Evidence / ed. by Susanna Fellman and Marjatta Rahikainen. Newcastle upon Tyne, 2012. P. 121–132.*

сравнительный анализ двух форм средневековой личной зависимости, внешне весьма схожих, — французского серважа и английского вилланажа (*villainage*) — и установил серьезные различия между ними [там же, с. 76–80].

Впоследствии историки не раз прибегали к сравнению, чтобы выявить специфику изучаемого явления. Ю. Кокка и Х.-Г. Хаупт приводят несколько подобных примеров: так, довольно раннее появление рабочего движения в Германии как независимой силы становится достойным внимания фактом только на фоне истории рабочих движений других стран, в частности — Англии и США. А необычайно влиятельное положение, сплоченность и важная историческая роль немецкого образованного среднего класса делаются заметны лишь в сравнении с другими европейскими обществами [49, с. 3].

В своей исследовательской практике я использовал индивидуализирующую (контрастную) функцию сравнения для устранения того, что М. Блок называл «ложными подобиями» [32, с. 76]. До недавнего времени отечественные историки, не задумываясь, применяли термин «регентство» для обозначения правления княгини Ольги за своего малолетнего сына Святослава, Елены Глинской — за юного Ивана IV и царевны Софьи — за братьев Ивана и Петра. Использование латинского термина в этих случаях создает иллюзию, будто речь идет о том же самом институте передачи властных полномочий временному правителю на период несовершеннолетия монарха, который сложился в Западной Европе примерно к XIV в. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что ни соответствующей терминологии, ни правовой базы, определявшей полномочия регента, в допетровской Руси, в отличие от Запада, не возникло. То, что историкам России казалось регентством, на проверку является другим институтом — соправительства. А институт регентства в России так и не сложился, поскольку он, по предположению автора этих строк, был несовместим с сформировавшимся в XVI–XVII вв. самодержавием (см.: [202, 144]).

Последнюю из выделенных ими задач или полезных функций сравнения Ю. Кокка и Х.-Г. Хаупт называют парадигматической. Этим туманным, на мой взгляд, термином авторы обозначают способность сравнения делать привычное и само собой разумеющееся

в истории странным и необычным, а казавшийся исключительным случай — лишь одним из многих вариантов развития [49, с. 4]. Точнее, как мне кажется, схватывает суть данного эффекта сравнения употребленное Юргеном Коккой в одной из предыдущих статей немецкое слово *Verfremdung* — «остранение» [83, с. 41].

Но даже самая полная на сегодняшний день классификация функций исторического сравнения, представленная в работах Ю. Кокки и Х.-Г. Хаупта, не является исчерпывающей. Если отсутствие в ней такой задачи, как поиск причин, можно считать отражением объективной тенденции, характерной для современной историографии, то другие лакуны объясняются, по-видимому, индивидуальными предпочтениями авторов. Это относится, в частности, к роли сравнения в анализе различных влияний и заимствований, о чем уже шла речь выше, а также к отмеченной еще просветителями способности сравнительного метода восполнять пробелы в наших фактических знаниях при помощи суждения по аналогии. Такое применение сравнения рекомендовал И. Г. Дройзен в XIX в. [14, с. 242–243], позднее его упоминали М. Блок (со ссылкой на работы этнографов) [38, с. 36–37] и Т. Шидер [77, с. 150, 165], но современные компаративисты обходят подобное использование аналогий молчанием.

Определение полезных функций, т. е. целей использования и области применения какого-либо метода, — необходимая начальная стадия в его разработке. Как явствует из предыдущего изложения, в этом направлении в исторической компаративистике сделаны только первые шаги. Если эвристическая, аналитическая (проверка гипотез) и индивидуализирующая (контрастная) функции сравнения описаны достаточно подробно и предложены конкретные «сценарии» их использования в историческом исследовании, то другие возможности этого метода, включая типологический анализ и моделирование, еще ждут детальной проработки.

Однако, несмотря на неполноту имеющихся описаний целей и функций сравнения в историческом исследовании, они представляют несомненный интерес как в методическом отношении, будучи ценным ориентиром для практикующих компаративистов, так и в науковедческом плане — как основа для представлений о специфике современного исторического сравнения.

Вопрос об отличиях сравнения в истории от аналогичного метода, применяемого в социальных науках, был поставлен давно. Так, Н. И. Кареев, противопоставляя друг другу задачи истории и социологии, писал в 1913 г.: «Следует поэтому в сравнительном изучении различать сравнительно-историческое и сравнительно-социологическое: оба пользуются для сравнения историческими (или этнографическими) фактами, но историка интересуют лишь факты, между которыми можно установить генетическую связь, социолога же преимущественно факты, свидетельствующие о наличности в каждом примере одинаковой причины, приводящей к одинаковому следствию» [68, с. 192]. Но методологический барьер, воздвигнутый неокантианцами между так называемыми идиографическими и номотетическими науками оказался прозрачным, и уже в середине XX в. представители социальных наук стали выражать сомнения как в своей способности открывать некие «законы» устройства общества, так и в наличии принципиальных различий между их дисциплинами и историей.

В 1963 г. известный британский антрополог Э. Эванс-Причард поставил вопрос о том, чего его коллегам удалось достичь при помощи сравнительного метода за более чем 200 лет, прошедших с момента выхода знаменитого труда Монтескье «О духе законов». Сам он оценивал результаты применения этого метода в антропологии весьма скептически: «Конечно же, очень немного из достигнутого может претендовать на статус законов, сопоставимых с законами, которых удалось достичь за эти два столетия в естественных науках» [112, с. 675]. А двумя годами раньше Эванс-Причард в лекции «Антропология и история», прочитанной в Манчестерском университете, констатировал, что четкую границу между этими дисциплинами провести весьма трудно; что же касается наблюдаемых различий, то ученый объяснял их разницей в подходах антропологов и историков к материалу их исследований, несколько иной манерой описания и т. д. По его мнению, «социальная антропология и история представляют собой смежные подразделения единой социальной науки, или смежные направления социальных исследований» [111, с. 286, 289].

Аналогичные признания звучали в 70–80-х гг. минувшего столетия и из уст социологов. Так, Энтони Гидденс утверждал

в 1979 г., что «просто не существует логических и даже методологических различий между социальными науками и историей — при правильном их понимании»<sup>2</sup>. А его французский коллега Жан-Клод Пассрон показал, что социология, как и история, является разновидностью естественного рассуждения. «Мы не выходим за рамки естественного рассуждения, — замечает по этому поводу известный историк Антуан Про. — Просто социология предлагает более оснащенный, более строгий и, может быть, более внушительный вариант естественного рассуждения. Различие между ней и историей — это разница в степени, но не в природе» [17, с. 214].

Исходя из современных представлений об общей природе социального знания, следует отказаться от существовавшей в свое время гипотезы (ее, в частности, высказал сто лет назад Н. И. Кареев в приведенной выше цитате) о наличии разных сравнительных методов: сравнительно-исторического, сравнительно-социологического и т. д. Существует один сравнительный метод, имеющий общенаучный характер, но в каждой дисциплине он адаптируется в соответствии с принятыми в ней базовыми установками, задачами, приоритетами и т. д. (подробное обоснование этого тезиса см. в моей статье: [74]). Вместе с тем не стоит недооценивать существующих дисциплинарных границ: как было показано в предыдущей части книги (см. гл. 6), сравнительно-исторические исследования социологов не только заметно отличаются от работ историков-компаративистов, но даже порой совершенно неприемлемы для них.

Единственная известная мне попытка выделить особенности именно исторической компаративистики, отличающие ее от сравнительного анализа, применяемого в других социальных науках, принадлежит Хартмуту Кэлбле. Едва ли, впрочем, можно признать эту попытку вполне удачной. Немецкий ученый отметил

---

<sup>2</sup> Цит. по: *Abrams Ph. History, Sociology, Historical Sociology // Past and Present*. N 87 (May 1980). P. 14. Ф. Абрамс, комментируя это высказывание Гидденса, назвал его чересчур оптимистичным, полагая, что истории и социологии предстоит пройти еще долгий путь для выработки общего языка, чтобы выразить «видимую без труда общую для них логику объяснения» (Ibid.). Тем не менее в другом месте своей статьи Абрамс говорит, что история и социология представляют собой, по сути, «один и тот же проект» (*the same enterprise*) (Ibid. P. 5).

следующие характерные черты исторического сравнения: особое обращение с пространством (оно сильнее ограничено у историков, чем у социологов и антропологов, стремящихся изучить общие правила человеческого поведения) и временем (у историков оно дробится на множество периодов); внимание к контексту, к языку и понятиям эпохи; особое отношение к источникам и т. д. [29, с. 97–113]. Но при всей справедливости этих наблюдений следует заметить, что они относятся не к историческому сравнению как таковому, а к особенностям истории как дисциплины, к тем самым базовым установкам и ориентациям нашей профессии, которые отличают ее от других социальных наук. Если же нас интересует специфика компаративного анализа в истории, то получить наглядное представление о ней можно, сопоставив проанализированные выше суждения историков о целях и функциях сравнения с взглядами социологов на тот же предмет.

Рассмотрим, например, самую известную классификацию типов сравнения в исторической социологии, предложенную Тедой Скочпол и Маргарет Сомерс (1980). Все сравнительно-исторические исследования они делят на три основные категории: 1) параллельная демонстрация теории; 2) контрастно-ориентированные сравнительные штудии; 3) макроаналитический, или макрокаузальный, анализ. Примером первого типа авторы считают книгу Ш. Айзенштадта «Политические системы империй» (1963), ко второму типу они относят работы Райнхарда Бендикса, а к третьему — классический труд Б. Мура «Социальные корни демократии и диктатуры (1966), а также монографию самой Скочпол «Государства и социальные революции» (1979) [127, с. 175–187]. Встречаются, конечно, и переходные, или смешанные, типы: например, книга Перри Андерсона «Родословная абсолютистского государства» (1974), которая, по мнению Скочпол и Сомерс, сочетает в себе приемы «параллельной демонстрации теории» (в данном случае — марксистской) и выделения контрастов между разными вариантами одной и той же модели развития [там же, с. 187–188].

Приведенная классификация ярко свидетельствует о научных интересах и стиле мышления ее авторов: приоритете теории, увлечении каузальным анализом и любви к четким формально-логиче-

ским схемам. Примечательно, что столь важная в глазах историков эвристическая функция, т. е. обнаружение в прошлом ранее неизвестных явлений и в этой связи постановка новых вопросов, явно не является первостепенной для социологов. И наоборот: задача развития теории, столь актуальная для социологов, остается чуждой большинству историков, включая компаративистов.

Таким образом, хотя деление наук на идиографические и номотетические уже давно вышло из моды, история по-прежнему в гораздо большей мере, чем социология, является эмпирической дисциплиной, и поклонники музыки Клио, как и прежде, с опаской относятся к чересчур смелым генерализациям. Отсюда и различия в постановке задач для сравнительных исследований. По словам Питера Болдуина, «...сравнение не обязательно означает генерализацию. Более того, в руках историка оно никогда не должно ею быть» [36, с. 11]. Проверять обобщения, сформулированные «более строгими социальными науками» (*harder social sciences*), — такова, по мнению американского ученого, одна из самых обычных операций сравнительной истории [там же].

Можно предположить также, что нацеленность на поиск причин, столь характерная для сравнительно-исторической социологии 60–80-х гг. XX в., была данью идеалу «строгой научности», как ее в свое время понимал Дюркгейм, т. е. как следование методам естественных наук. Историки же, как было показано в этой главе, к настоящему моменту разочаровались в возможностях каузального анализа и уже не ставят подобных задач в своих сравнительных исследованиях.

Вместе с тем нельзя не заметить, что программы историков-компаративистов и исторических социологов в некоторых пунктах пересекаются: такие задачи, как профилирование (контрастное сопоставление) «кейсов» и проверка гипотез, считают приоритетными для сравнительных исследований представители обеих дисциплин. Кроме того, не стоит забывать о том, что *логическая основа* сравнения остается одной и той же, каковы бы ни были задачи компаративного исследования. Поэтому предложенная в 1984 г. американским социологом Чарльзом Тилли классификация видов сравнения, построенная по формальным критериям (количество изучаемых случаев: один или множество, едино-

образии или многообразии форм изучаемого явления), пригодна для описания не только работ по исторической социологии (для которой она была разработана), но и исследований историков-компаративистов.

Эта типология включает в себя индивидуализирующее, универсализирующее, вариационное (*variation-finding*) и, наконец, охватывающее (*encompassing*) сравнение [128, с. 81–82]<sup>3</sup>. Примеры всех четырех типов Тилли черпает из книг своих коллег-социологов (соответственно Р. Бендикса, Т. Скочпол, Б. Мура и С. Роккана), но при желании он мог бы сослаться и на работы историков. Примечательно, что в программной статье Теодора Шидера (1965), по всей видимости, оставшейся американскому социологу неизвестной, было перечислено пять форм сравнительного метода в истории: парадигматическая, аналогическая, обобщающая, индивидуализирующая и синтетическая [77, с. 165]. Сходство видно, что называется, невооруженным глазом. Нужно, правда, сделать оговорку, что по указанным выше причинам историки гораздо охотнее пользуются контрастным, или индивидуализирующим, сравнением, чем обобщающим. Тем не менее при всем разнообразии форм и конкретных приемов сравнения, обусловленных спецификой той или иной дисциплины и предпочтениями ученых, которые в данный момент определяют ее развитие, общенаучный метод сохраняет свое единство.

---

<sup>3</sup> Неплохое изложение типологии сравнений Тилли с комментариями и примерами применения некоторых типов сравнения (прежде всего индивидуализирующего) к историческому материалу можно найти в учебнике А. В. Бочарова [67, с. 63–64]. Свою классификацию сравнительных методов в истории разработал также бельгийский философ Антон ван ден Брэмбусше, объединив варианты Тилли и Скочпол/Сомерс [78], однако предложенная им типология не получила широкого распространения.

## **ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ. ТИПЫ ИСТОРИЧЕСКИХ СРАВНЕНИЙ**

Выбор объектов для сравнения считается в компаративистике едва ли не самой трудной и ответственной операцией, и споры о том, что в истории можно сравнивать, а что — нельзя, продолжаются уже более ста лет.

Так, Ш.-В. Ланглуа полагал, что сравнение первобытных обществ легко, а сравнение сложно устроенных обществ Нового времени, напротив, очень трудно, если вообще возможно: «Бесполезно было бы сравнивать современные учреждения Китая и Франции, или Англии — даже Англии при Георгах — с институтами Франции при Бурбонах; у них нет ничего общего», — утверждал историк [50, с. 260]. Интересно, что подобное мнение сложилось у него под влиянием естественно-научных теорий: «Мы можем с пользой сравнивать низшие типы растительного и животного царства, — писал Ланглуа, — но, очевидно, невозможно и абсурдно сравнивать органы человека и дуба с целью обнаружения их соответствующих генеалогий. Можно сравнивать только аналогичные вещи <...> а в истории современных наций все аналогии являются чрезвычайно отдаленными, поскольку это сущности, обладающие особенной и ярко выраженной индивидуальностью» [там же]. Зато он смело рекомендовал сравнение Англии и Франции в Средние века, видя в данном случае «идеальные условия для легкого и легитимного применения компаративного метода»: почти все элементы истории обеих стран в указанную эпоху симметричны, отчасти имеют общее происхождение и неоднократно вступали в контакт в течение столетий [там же, с. 261].

Как мы помним, сходной точки зрения на проблему выбора объектов сравнения придерживался и Марк Блок, отдававший

предпочтение соседним и современным друг другу обществам, поскольку такое параллельное сравнение можно строже контролировать, а значит, от него стоит ожидать более точных выводов [32, с. 68]. Сравнение «дальнего радиуса действия» он полностью не отвергал, но относился к нему критически и, судя по приводимым им примерам, считал этот прием скорее подходящим этнографам, чем историкам [38, с. 37].

Однако впоследствии аргументы Блока не убедили Уильяма Сьюэлла, который, можно сказать, «реабилитировал» сравнение удаленных друг от друга обществ [84, с. 215]. Более того, американский историк значительно углубил понимание самой проблемы единиц сравнения, подчеркнув, во-первых, что они зависят от объяснительной гипотезы, которую мы пытаемся проверить при помощи сравнения, а во-вторых, что эти единицы не обязательно должны носить географический характер (деревни, регионы и т. д.), поскольку сравнению подлежат разные *социальные системы*, от семьи до целой цивилизации [там же, с. 213]. Заслуживает внимания также мысль Сьюэлла о том, что применение сравнительной рамки вообще не имеет смысла, если не рассматривается какая-либо требующая объяснения проблема [там же, с. 214].

В самом конце XX в. было высказано мнение, прямо противоположное тому, которое преобладало во времена Ш.-В. Ланглуа и Марка Блока, да и сейчас имеет немало сторонников в нашей профессии: Марсель Детьенн, историк античной Греции, призвал коллег «сравнивать несравнимое» (*comparer l'incomparable*), полагая, что только сопоставление далеких друг от друга во времени и пространстве обществ, как это делают антропологи, является по-настоящему плодотворным методом сравнения [80]. Однако пока мало кто из историков готов последовать этому совету.

В настоящее время принято считать, что сравнимость исторических явлений не устанавливается априорно, а определяется в каждом конкретном случае исходя из постановки вопроса в том или ином исследовании [29, с. 138; 46, с. 27]. Тем самым историки, хотя и с запозданием, пришли к осознанию того, что уже давно понятно специалистам в других дисциплинах, успешно применяющим сравнительный метод: по словам биолога

Г. Ю. Любарского, «одинаковость (изоморфность) объектов есть результат работы научного аппарата, а не свойство реальности. <...> Научный метод (в частности, сравнительный метод) делает реальные объекты сходными, сравнимыми, пригодными для дальнейшего изучения» (выделено Любарским. — М. К.) [75, с. 11, 12]. Поэтому, если один историк упрекает другого в том, что тот сравнивает явления, не имеющие между собой ничего общего, это означает лишь, что автор исследования, по мнению его критиков, не сумел сделать убедительных выводов из проведенного им сравнения. Но отсюда вовсе не следует, что данные объекты вообще не подлежат сравнению: при другом «дизайне» работы и иной постановке проблемы их сопоставление может оказаться вполне эффективным. Так, израильский историк Михаэль Конфино критически оценил книгу американского исследователя Питера Колчина «Несвободный труд» (1987), в которой проводилось сравнение между американским рабством и русским крепостничеством до реформы 1861 г.: по мнению критика, различий между этими явлениями было намного больше, чем сходств [166; 167, с. 101–110]. Однако, как будет показано в третьей части данного пособия, не все отклики на монографию Колчина были столь негативны, а большой интерес, проявленный к его книге историками разных специальностей, свидетельствует скорее об успехе, чем неудаче, этого труда. И уж во всяком случае, какой бы ни была оценка работы, проделанной американским ученым, она не предрешает вопрос о сравнимости систем подневольного труда, изученных Колчиным.

Но провозглашаемая сейчас свобода исследователя при выборе объектов сравнения означает, с методологической точки зрения, большую неопределенность, что на практике сулит компаративистам немалые трудности в работе. Так, Хартмут Кэлбле предостерегает коллег от сравнения институций, которые, несмотря на одинаковое название, имели в различных обществах совершенно разное назначение: в частности, немецкие университеты в XIX в. были высшими школами, а французские — скорее учреждениями по приему экзаменов (*Prüfungsbüros*). Следует также считаться с тем, напоминает Кэлбле, что один и тот же институт может иметь в тех или иных обществах различные функции: например, выбор

для сравнительного изучения европейских столиц после Второй мировой войны таких городов, как Париж, Лондон, Дублин, Бонн, Берн и Гаага, представляется весьма проблематичным, поскольку в Швейцарии, Голландии и ФРГ (до 1990 г.) столичный город выполнял только политические функции, в то время как в Лондоне, Париже и Дублине сходились и сходятся нити культурной и экономической жизни соответствующих стран [29, с. 136].

На мой взгляд, первый из приведенных немецким историком примеров более убедителен, чем второй, но в любом случае речь должна идти не о том, что какие-то объекты несравнимы по своей «природе», а о том, как и на каком материале можно построить эффективное сравнительное исследование. К сожалению, практических рекомендаций на этот счет в имеющейся литературе явно недостаточно. Так, Х.-Г. Хаупт и Ю. Кокка пишут, например, что сравниваемые объекты «должны демонстрировать минимум сходства, чтобы сделать возможным сравнение, что, конечно, всегда означает, что они могут изучаться [и] в отношении различий между ними» [46, с. 27]. Но как понимать этот «минимум сходства», который необходим для того, чтобы сравнение стало возможным? Поскольку в работах историков ответа на этот вопрос мне обнаружить не удалось, я обратился к книге биолога Г. Ю. Любарского, который рассматривает проблему сравнения в истории с позиций своей науки, обладающей самой разработанной на сегодняшний день морфологией.

По словам Г. Ю. Любарского, существуют всего три универсальных критерия сходства (гомологии). 1) Специальное качество: если у двух явлений есть общая характерная черта, они сходны, гомологичны. 2) Положение: если два явления занимают одинаковое место в рамках более общего явления, то между ними есть сходство. 3) Критерий ряда: если между двумя явлениями можно выстроить непрерывный ряд переходов, то эти явления сходны между собой. Поскольку третий критерий зависит от первых двух (сходство между двумя любыми членами ряда устанавливается по критериям качества или положения), то именно они и являются основой сравнения [75, с. 16].

Однако основные споры возникают, как правило, не по поводу самого наличия сходства между изучаемыми историческими яв-

лениями (оно обычно «схватывается» учеными интуитивно), а по поводу его научной значимости и приоритета по отношению к другим возможным линиям сравнения. Так, упомянутое выше американское рабство первой половины XIX в. можно сравнивать с рабством в другие эпохи (например, античным) или в других странах (например, в Латинской Америке), а если рассматривать его (как это сделал Питер Колчин) как разновидность несвободного труда, — то с русским крепостничеством или иными формами личной зависимости. Но если исследователя интересует вопрос об экономической эффективности рабовладельческих плантаций, то напрашивается сравнение с фермерскими хозяйствами той же эпохи, использовавшими труд наемных батраков. Таким образом, в какой *сравнительный ряд* встраивается изучаемое явление, полностью зависит от поставленной ученым проблемы.

Но какова бы ни была задача исследования, для успеха сравнительной операции необходимо, чтобы в ней помимо единиц сравнения присутствовал также «третий элемент» (лат. *tertium comparationis*), который выступает в качестве более общего, родового понятия по отношению к сравниваемым объектам. Таким образом, правильный «дизайн» компаративного исследования предполагает определенное — иерархическое — отношение между центральной проблемой, подлежащей изучению, и сравниваемыми случаями, демонстрирующими ее проявления в различных контекстах (о понятии *tertium comparationis* см.: [53, с. 343, 345; 49, с. 14]). Естественно, единицы сравнения, как и связывающий их «третий элемент», должны относиться к одной и той же изучаемой категории: социальному явлению, структуре, процессу, политическому институту и т. д.<sup>1</sup>

Вернемся теперь к вопросу о выборе объектов сравнения: каким должно быть их оптимальное количество? На этот счет

---

<sup>1</sup> «Процессы можно сравнивать только с процессами, структуры — со структурами. Нельзя сравнивать процессы со структурами», — говорил на лекции в Европейском университетском институте во Флоренции известный чешский историк-компаративист Мирослав Грох: Miroslav Hroch, “Comparing National Movements in Nineteenth-Century Europe” (Lecture), Summer School, European University Institute, Florence, September 11, 2012.

не существует однозначных рекомендаций: все опять-таки зависит от задач исследования.

Чаще всего встречается сравнение какого-либо явления в двух или нескольких странах. Такое сравнение соседних и одновременно существующих обществ принято вслед за Марком Блоком называть *параллельным* — в отличие от разделенных во времени и пространстве социумов, для сравнения которых в современной научной литературе предлагаются термины «перекрестное» (*cross-comparison*) или «кросс-культурное» (*cross-cultural*) (об этих терминах см.: [48, с. 2 и примеч. 8]). «Короли-чудотворцы» и некоторые другие работы великого медиевиста представляют собой прекрасные образцы параллельного сравнения — прежде всего политических и социальных институтов средневековых Англии и Франции. А страницы книги Блока «Феодальное общество», посвященные японскому феодализму, можно считать примером кросс-культурного сравнения.

В современной исторической компаративистике преобладают параллельные и особенно парные сравнения: таковы охарактеризованные в первой части этого пособия монографии А. Клаус и С. Педерсен о гендерных аспектах социальной политики, соответственно, в США и Франции на рубеже XIX–XX вв. и в Великобритании и Франции в 1914–1945 гг., книга Д. Коэн о судьбе инвалидов Первой мировой войны в Германии и Великобритании [165], исследование Х. Айзенберг об английском и немецком рабочем движении XIX — начала XX в. [168] и многие другие работы. Кросс-культурные сравнения встречаются реже. К ним, в частности, относится упомянутая выше книга П. Колчина об американском рабстве и русском крепостничестве [176], а также труды Дж. Фредриксона о расовых отношениях и идеологиях в США и Южной Африке [169, 27]<sup>2</sup>.

Если число сравниваемых объектов ограничивается двумя-тремя, это дает исследователю некоторые преимущества: есть возможность привлечь богатый источниковый материал, произ-

---

<sup>2</sup> Трудности и перспективы исторического сравнения различных культур и цивилизаций подробно обсуждает в своей статье немецкий исследователь Юрген Остерхаммель, см.: [31, с. 11–45].

ходящий из всех изучаемых стран или регионов, и учесть соответствующий контекст. Но существуют и серьезные ограничения: как правило, интересующая ученого проблема (играющая в сравнительном исследовании роль «третьего элемента» — *tertium comparationis*) не «умещается» в рамках тех нескольких стран, которые находятся в поле его зрения. Поэтому при параллельном сравнении нет возможности делать какие-либо обобщения, относящиеся к данному явлению в целом: говорить о причинах его возникновения (иначе можно оказаться в плену у «локальных псевдопричин», как называл их Марк Блок) или тенденциях развития. Лучше всего такой тип сравнения отвечает задаче профилирования отдельных случаев, выявления специфики протекания изучаемого процесса или формирования некоего института в той или иной стране или регионе.

Но если историк стремится изучить некое явление в полном масштабе, построить его модель и показать региональные особенности или варианты, как это сделал М. Блок в «Феодалном обществе», то количество единиц сравнения, естественно, возрастает. При этом, однако, возникают новые трудности: как пишут Ю. Кокка и Х.-Г. Хаупт, «чем больше сравниваемых случаев включено [в исследование], тем меньше возможностей придерживаться источников и тем больше зависимость [историка] от вторичной литературы» [49, с. 13]. Конечно, встречаются счастливые исключения: я уже упоминал книгу Питера Болдуина о классовых основах европейского «государства всеобщего благосостояния» (1990), при написании которой автор обследовал несколько десятков архивов в пяти странах. Но, разумеется, не все могут последовать его примеру, так что проблема, несомненно, существует. Она знакома многим компаративистам, которым приходится преодолевать языковые барьеры, искать сравнимые материалы, адаптироваться к национальным историографиям разных стран и т. д. Некоторые из них поделились с коллегами практическими советами о том, как преодолеть указанные трудности: мы познакомимся с этими рекомендациями в следующей главе.

Но сравнительное исследование может быть построено и вокруг одного объекта: такого рода сравнение, удачно названное Юргеном Коккой асимметричным (см.: [82, с. 48–49; 49, с. 5–6]),

предполагает, что избранная тема разрабатывается на материале одной страны, а сравнительные данные привлекаются для высвечивания тех или иных аспектов изучаемой проблемы, показа ее с неожиданной стороны и т. д. Иными словами, объекты сравнения остаются в этом случае на заднем плане, служат лишь фоном для основной линии исследования, и поэтому можно согласиться с мнением немецких историков о том, что асимметричный тип сравнения является редуцированным, неполным. Верно и то, что при такого рода сравнении велик риск стилизации или идеализации образа «Другого», на фоне которого подчеркиваются особенности исторического пути Германии, «исключительность» Америки или какой-то иной (но в каждом случае своей!) страны [82, с. 49; 49, с. 5].

Интересно, что и в германской, и в российской историографии в роли «партнера» для сравнения часто выступал мифологизированный «Запад». На расплывчатость и противоречивость этого странного понятия, с которым в отечественном дискурсе принято сопоставлять Россию, справедливо обратил внимание Михаэль Конфино [167, с. 93–96].

Но при всех возможных рисках, связанных с асимметричным сравнением, оно обладает и рядом несомненных достоинств. В первую очередь следует отметить большой эвристический потенциал этого типа сравнительного анализа, открывающего практически неограниченные возможности для переноса научного знания из одной области в другую, постановки новых проблем и формулировки вопросов, требующих изучения. Сравнительная перспектива — это магистральный путь обновления «повестки дня» в любой национальной историографии, и в заключительной главе данной книги я приведу примеры новых тем и направлений, разработка которых на материале российской истории стала возможна благодаря знакомству с соответствующим исследовательским полем в других странах.

Кроме того, асимметричное сравнение, в отличие от параллельного, кросс-культурного или типологического, менее трудоемко, поскольку не требует расширения эмпирической базы исследования: эвристический или «остраняющий» эффект достигается не за счет привлечения новых источников, а за счет нового

прочтения уже имеющихся данных в свете иного исторического опыта, относящегося к другому месту и времени.

До сих пор мы в основном говорили о сравнении явлений, одновременно (синхронно) происходивших в разных странах. Но при изучении каких-либо процессов историкам часто приходится прибегать к *диахронному* сравнению, ведь процессы обычно протекают неравномерно. Классическим примером могут служить рассмотренные выше работы А. Гершенкрона о европейской индустриализации и феномене относительной отсталости (см. ч. 1, гл. 4). К тому же типу сравнительного исследования принадлежит и книга Мирослава Гроха о национальном возрождении в Европе XIX в. [174]; подробнее о ней будет рассказано в третьей части данного пособия.

Как, вероятно, уже заметил читатель, у каждого типа сравнения есть свои преимущества, но есть и ограничения. Поэтому при планировании компаративного исследования важно определить, какой из перечисленных типов окажется наиболее подходящим для решения поставленной задачи. Например, если нужно подтвердить или опровергнуть тезис об уникальности какого-либо явления, то для этого вполне подойдет асимметричное сравнение: достаточно просто поместить изучаемый «кейс» в сравнительный контекст. Параллельное сравнение эффективно в случае, когда требуется показать специфику протекания некоего процесса или функционирования института в разных обществах. Ну а для решения амбициозной задачи моделирования или построения типологии, скажем, национальных движений или формирования национальных государств придется сопоставить десятки отдельных случаев и при этом, скорее всего, не удастся избежать критики со стороны специалистов, изучающих тот же процесс в своих странах.

Осталось сказать еще несколько слов об *уровне* сравнения. Как мы уже знаем, сравнения цивилизаций в духе Шпенглера и Тойнби, а также глобальные сравнения, практикуемые некоторыми социологами, не получили признания среди историков. До сих пор преобладающим уровнем исторического сравнения остается национально-государственный, хотя выбор государств в качестве единиц сравнения подвергся недавно резкой критике со стороны представителей новых направлений исследований: истории

трансферов, «перекрестной истории» и т. д. (см. выше, ч. 1, гл. 5). Но справедливости ради нужно сказать, что обычно сравниваются между собой не сами государства как таковые, а происходящие в них процессы или наблюдаемые явления. Иными словами, национальные границы маркируют в данном случае разные социальные среды (напомню, что именно критерий различия *среды* считал основным Марк Блок при выборе объектов сравнения: [32, с. 66]).

В последнее время все чаще раздаются призывы к проведению сравнений «на среднем уровне» (*at a middle range*). Правда, Реймонд Гру и Питер Болдуин, высказавшие такое пожелание, вероятно, имели в виду некий средний уровень абстракции, при котором сохраняется исторический контекст и предлагаются объяснения, но не универсальные законы [43, с. 773; 147, с. 39; 36, с. 15–16]. Однако их коллега Нэнси Грин, например, понимает тот же термин в пространственном смысле, т. е. как уровень «ниже» государства: регионы, города или виды промышленности; американская исследовательница ссылается, в частности, на свою работу, в которой она сравнила фабрики женской одежды в Париже и Нью-Йорке [42, с. 46, 48].

Существует и опыт сравнительных *региональных* исследований, в том числе в отечественной историографии: так, Л. Н. Мазур и Л. И. Бродская, изучая эволюцию сельского расселения на Среднем Урале в XX в., выделили там шесть экономико-географических районов и в результате сравнительного анализа выявили и описали несколько моделей урбанизации на территории Свердловской области [70, с. 468].

Однако в целом, на мой взгляд, масштаб сравниваемых объектов, их пространственные характеристики не имеют принципиального значения с методологической точки зрения: тип сравнения и его полезные функции не изменятся от того, сравнивает ли исследователь некий процесс или явление в нескольких городах, регионах или странах. Мы вернемся к рассмотрению этой проблемы в следующей главе книги.

## СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ КОМПАРАТИВИСТАМ

В предшествующих главах мы обсудили самые дискуссионные вопросы исторической компаративистики: существует ли сравнительный метод, каковы полезные функции сравнения в истории и как выбрать объекты для сравнения. Но остается еще немало важных методологических проблем, о которых начинающему компаративисту стоит знать, приступая к исследованию. Ниже я постараюсь суммировать имеющиеся в литературе по этому поводу рекомендации, прибавив к ним некоторые собственные наблюдения.

Совет первый: *с самого начала необходимо четко обозначить цель исследования и сформулировать проблему (вопрос), которая может быть решена или прояснена с помощью сравнения.* Это может показаться самоочевидным, но нередко бывает так, что отсутствие ясной цели делает сравнение неэффективным. Приведу конкретный пример.

Недавно Ю. Г. Акимов опубликовал сравнительный очерк трех колонизаций: русскими — Сибири, а англичанами и французами — Северной Америки в конце XVI — середине XVIII в. [186]. Обычно сильной стороной параллельных сравнений является богатство источникового материала, знание контекста, выявление специфики каждого изучаемого «кейса». Но книга Ю. Г. Акимова основана практически полностью на имеющейся (правда, весьма обширной) научной литературе, сомнительно поэтому, что сибиреведы или американисты найдут в ней для себя что-то новое. Создается впечатление, что ученый и не стремился внести собственный вклад в разработку тех аспектов проблемы, которые он затрагивает в тексте (темпы и масштабы колонизации,

численность колонистов, система управления колониями, отношения европейцев с аборигенами и т. д.). Целью своей работы Ю. Г. Акимов называет «сравнительно-историческое исследование <...> колониционных процессов» в Северной Азии и Северной Америке в указанный период, что, по убеждению автора, должно помочь «“вписать” великую сибирскую эпопею <...> во всемирно-исторический контекст и обеспечить ей там достойное место» [там же, с. 4]. Не менее амбициозно звучат и другие задачи, поставленные перед собой историком: «...внести вклад в решение фундаментального вопроса о сущности, месте и роли колонизации в истории всего мирового сообщества», а также «способствовать преодолению европоцентристского, а лучше сказать западноцентристского, подхода к истории Нового времени» [там же, с. 5].

Но дело, однако, в том, что сравнение не может быть самоцелью исследования: оно должно быть средством, «рабочим инструментом» (по выражению М. Блока [32, с. 65]) для решения поставленных историком задач. Если же задачи формулируются абстрактно и даже претенциозно (как в работе Акимова), то полезные функции сравнения просто не могут проявиться. По сути, упомянутая книга не содержит оригинального исследования; это — подборка заимствованных из литературы примеров, распределенных автором по рубрикам. А итоговые выводы Ю. Г. Акимова — в частности, о чертах сходства между Сибирью и французскими колониями в Северной Америке [186, с. 354–357] — не обладают самостоятельной научной ценностью: они ничего не объясняют и сами нуждаются в объяснении (едва ли можно считать объяснением указание автора на то, что и Сибирь, и французские колонии «были владениями феодальных, самодержавно-абсолютистских монархий» [там же, с. 356]); кроме того, остается неясным, какие общие черты выдают глубинное сходство процессов, а какие — являются лишь поверхностными аналогиями. Выявленные сходства и отличия для историка — это не «конечный пункт» сравнительного исследования, а его отправная точка.

Разумеется, не решает Ю. Г. Акимов и другой своей задачи — определить место освоения Сибири во всемирной истории колонизаций: для подобной типологии потребовался бы совершенно другой масштаб работы и включение в исследование не только

сибирского и североамериканского материала, но и латиноамериканских, африканских, азиатских «кейсов».

О том, что каждое сравнение требует постановки конкретных исследовательских вопросов, недавно напомнил начинающим компаративистам немецкий историк Штефан Бергер (в момент написания цитируемой статьи — профессор Манчестерского университета): «Если мы не подойдем к материалу, имея в виду определенные вопросы, — предупреждал он, — мы столкнемся с проблемой избытка информации (очевидно, эта проблема тем серьезнее, чем больше масштаб сравнения) и с риском того, что вместо сравнения мы просто будем рассказывать параллельные истории» [37, с. 194].

С подменой сравнения как исследовательской операции простым выстраиванием ряда сходных «кейсов» мы часто сталкиваемся также на научных конференциях и в сборниках статей, где, по выражению Нэнси Грин, «объединяющий сравнительный взгляд» добавляется комментаторами или редакторами во введении к тому; но все равно, по словам исследовательницы, «специалисты проявляют тенденцию к монологу, а не диалогу» [42, с. 48].

Таким образом, только будучи встроено в исследование, являясь его органической частью, сравнение может служить действительно полезным инструментом научного анализа.

Еще одно важное условие успешной сравнительной операции удачно сформулировали Х.-Г. Хаупт и Ю. Кокка: «Невозможно сравнивать явления в их многослойной целостности. Скорее, мы выбираем аспекты. Сравнение требует выбора, абстракции, отделения случая от его контекста» [46, с. 25]. Иными словами, *сравнивать можно только в каком-то отношении* [49, с. 14]. Отсюда следует, что такие сложные системы, как общества или государства в целом, не могут служить объектами сравнения. Встречающиеся иногда в публицистике параллели между странами — например, между постсоветской Россией и Веймарской Германией — могут рассматриваться как метафоры, но серьезного научного значения не имеют.

Тем не менее отсутствие разработанной методики исторического сравнения приводит порой к попыткам сопоставления целых обществ и государств, принадлежащих к разным эпохам.

Так, С. М. Каштанов в серии докладов и статей, опубликованных в 1990-х гг., проводил параллели между Русью XIV–XVI вв. и Франкским государством VII–IX вв. (т. е. времени Меровингов и Каролингов) [196], между Иваном III и Карлом Мартеллом [197]. Сходство между этими обществами, разделенными хронологическим промежутком в 600–800 лет, ученый усматривал в развитии монастырского землевладения и иммунитета, становлении бенефициарной или поместной системы, закреплении крестьян, уровне материальной и духовной культуры. «Сложившееся к концу XV–XVI в. Русское государство, — утверждал исследователь, — имело в целом ту же социальную базу, что и империя Карла Великого» [196, с. 91]. Однако этот смелый вывод носит скорее «импрессионистический» характер и не основан на систематическом сравнении упомянутых государств. Явной натяжкой выглядит параллель между русским крестьянством XV–XVI вв. и французскими сервами. Не было в державе Карла Великого столь крупных городов, как Москва, Новгород или Псков XVI в. с их десятками тысяч жителей. Я уже не говорю о радикальных отличиях в военной и политической сферах: использовании артиллерии, учреждении стрелецкого войска, складывании системы центральных ведомств (приказов), созыве при Иване IV первых земских соборов...

Сам ученый, чувствуя, видимо, некоторые неувязки в своих построениях, замечает: «Парадокс заключается в том, что Русское государство XV–XVI вв., будучи по типу социальных отношений близким к Каролингской империи, имело другую, чем эта монархия, историческую перспективу: не распад, а укрепление и переход к абсолютизму» [там же]. Но этот «парадокс» стал следствием, во-первых, произвольного выбора эпохи, с которой сравнивается Московская Русь, а во-вторых, попытки сравнить сразу все стороны жизни изучаемых обществ: от урожайности и форм землевладения до государственного устройства и книжной культуры. Между тем тот тип стадийного, диахронического сравнения, к которому прибегает С. М. Каштанов, предполагает, что сравниваются социумы, находящиеся на одинаковой стадии *одного и того же процесса*. О каком же процессе идет речь? Я считаю, что применительно к России второй половины XV–XVI в. следует

говорить о процессе зарождения государства Нового времени: действительно, такие его черты, как делегирование судебной и административной власти монарха его советникам и уполномоченным должностным лицам, бюрократизация аппарата управления, возникновение сословно-представительных учреждений парламентского типа, характерные для королевств Западной и Центральной Европы XIII–XV вв., были присущи и Московскому царству XVI столетия (см. подробнее: [201]).

Естественно, речь должна вестись не только об общих чертах описываемого процесса, но и о его специфике в том или ином регионе. Но пока интересующая нас проблема не выделена, пока исследователь придерживается холистского подхода к истории (в случае С. М. Каштанова этот подход явно навеян марксистской схемой общественно-экономических формаций), изучение местных особенностей некоего общеевропейского процесса оказывается невозможным: сравнительный метод просто не работает.

Пользу проводимых С. М. Каштановым неожиданных и даже рискованных параллелей между Иваном III и Карлом Мартеллом, Иваном IV и Карлом Великим я вижу в «остраняющем» эффекте такого сравнения, подчеркивающего архаичность социальных отношений в Московской Руси. Однако в ряде других аспектов Россия конца XV–XVI в. обнаруживает сходство с европейскими государствами эпохи позднего Средневековья и раннего Нового времени. К вопросу о том, в какой мере наша страна была «современна» другим государствам на разных этапах своей истории, мы вернемся в заключительной главе этой книги.

Итак, еще один совет, который можно дать начинающим компаративистам, заключается в том, что *сравнение, для того чтобы быть успешным, должно быть ограниченным, сфокусированным на каком-то одном процессе, явлении, институте*. Напомню также (об этом уже шла речь в предыдущей главе), что избранная ученым центральная проблема (ход некоего процесса, эволюция того или иного института и т. д.) должна стать связующим звеном, «третьим элементом» (*tertium comparationis*), задающим линию сравнения, которую образуют отдельные сопоставляемые «кейсы», относящиеся (в логическом плане) к той же самой категории.

Приведенные выше рекомендации относятся, главным образом, к построению («дизайну») компаративного исследования и отражают стремление сделать процедуру сравнения максимально осознанной и контролируемой. (Не случайно Э. Дюркгейм в свое время назвал сравнительный метод «косвенно экспериментальным»: [101, с. 511]). Но после того как, допустим, цель исследования поставлена, определена требующая изучения проблема, выбраны иллюстрирующие ее «кейсы» и тщательно продумана логика сравнения, историк-компаративист неизбежно сталкивается с рядом практических трудностей. Оставляя в стороне сложности преодоления языковых барьеров или доступа к иностранным архивам, рассмотрим подробнее часто обсуждаемую проблему опоры ученого в процессе сравнительного исследования на оригинальные источники и его возможной зависимости от существующей научной литературы.

Этот вопрос давно привлек к себе внимание компаративистов. В 1923 г. Н. А. Рожков, размышляя о приемах сравнительного изучения истории, писал: «Достаточно, если человек, предпринимающий сравнительно-историческое построение, является специалистом по истории одной страны, а в истории других осведомлен о важнейших явлениях исторической литературы» [212, т. 6, с. 5]. Тем не менее ученый считал важным ознакомление исследователя, работающего над сравнительным трудом, с основными доступными ему источниками по истории разных стран, поскольку это необходимо для критического отношения к чужим выводам. По признанию Рожкова, знакомство со многими (но, конечно, не со всеми!) источниками по истории Востока, Античности, Средневековья и Нового времени служило ему самому средством для решения спорных вопросов [там же].

В наши дни Х.-Г. Хаупт и Ю. Кокка полагают, что свойственный сравнительной истории отрыв от источников и контекста, а также зависимость от вторичной литературы, растущая по мере увеличения числа сравниваемых «кейсов», вступают в противоречие с «базовыми принципами исторической профессии». Поэтому историки-компаративисты, по наблюдениям немецких ученых, стремятся (в отличие от специалистов в социальных науках) к ограничению объектов сравнения до двух-трех [46, с. 25, 26; 49, с. 13, 15].

Джордж Фредриксон также советовал коллегам, — если они хотят, чтобы их работа была принята с уважением и оказалась полезна ученым во всех тематических областях, которые они сравнивают, — довольствоваться двумя «кейсами», не более [27, с. 11].

Однако, как было показано в предыдущих главах этой книги, выбор объектов сравнения и их количество определяется замыслом исследования: некоторые задачи просто не могут быть решены на двух-трех «кейсах». Удачные примеры компаративных исследований с использованием многих единиц сравнения можно найти в классических работах А. Гершенкрона, а в современной историографии — в монографиях П. Болдуина. Поэтому советы Хаупта/Кокки и Дж. Фредриксона не стоит воспринимать как догму. Более того, сама проблема выбора между первоисточниками и информацией, почерпнутой «из вторых рук», т. е. из монографий и статей по определенной тематике, не зависит от количества сравниваемых объектов: она может быть актуальна, даже если в поле зрения исследователя находятся всего два таких «кейса».

Примечательно, что Дж. Фредриксон, ссылаясь на свой опыт изучения расовых отношений в двух странах, США и Южной Африке, высказал мнение о том, что «хорошая сравнительная история» вовсе не обязательно предполагает продолжительные архивные поиски или работу с первоисточниками по каждому случаю. «Если тема обширна, а научная литература велика и высокого качества, — заявил американский историк, — то нет оснований не опираться в основном на нее» [27, с. 11]. Он также одобрительно цитировал ученого старшего поколения, Фрица Редлиха, утверждавшего, что основными источниками для компаративной историографии являются монографии предшествующих историков, а в архивы следует идти для заполнения лакун в наших знаниях и чтобы убедиться в том, видели ли авторы монографий те аспекты проблемы, которые нас интересуют. Редлих афористично выразил кредо компаративиста: «в то время как традиционная монографическая историография начинается в архивах, сравнительная завершается там» [цит. по: там же].

Вместе с тем Дж. Фредриксон признавал, что некоторые виды сравнительной истории могут и должны основываться на источ-

никах, хотя и не обязательно архивных: это относится, в частности, к интеллектуальной истории, примером которой может служить книга самого Фредриксона об идеологиях негритянских освободительных движений в США и Южной Африке [169], написанная, главным образом, на основе оригинальных текстов, в которых отразился протестный дискурс. По мнению американского исследователя, история идей и идеологий, в отличие от истории институтов, не требует больших «раскопок» и может изучаться в сравнительном ключе без опоры на монографическую литературу. Кроме того, первоисточники могут быть положены в основу сравнительной социальной истории на локальном уровне: если сравниваются, например, два города или две организации, то вполне реальным представляется проведение в каждом случае серьезных архивных разысканий [27, с. 12].

Заслуживает также внимания совет Фредриксона устанавливать прямые контакты с историками, специализирующимися на изучении страны, которая для компаративиста служит объектом сравнения с его собственной страной: это помогает быть в курсе новых тенденций в соответствующей историографии [там же].

Безусловно, приведенные выше соображения не являются универсальными рецептами, пригодными в любой ситуации, в которой может оказаться историк-компаративист. Разработка методик сравнительно-исторического исследования началась относительно недавно, и пока лишь небольшая часть практического опыта обрела форму если не правил, то хотя бы полезных рекомендаций. Третья, заключительная, часть книги призвана показать тематическое разнообразие современной исторической компаративистики и подкрепить конкретными примерами некоторые общие принципы сравнительного анализа, сформулированные в этом методологическом разделе.

**ЧАСТЬ III**

**ТЕМАТИКА**

**СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ**

**ИССЛЕДОВАНИЙ**

Как заметил Х. Кэлбле, успех исторической компаративистики во многом обязан ее «тематической гибкости» (*thematische Flexibilität*): поначалу сфера применения сравнения ограничивалась историей государственного устройства, институтов, социальных структур и экономического развития; впоследствии же она значительно расширилась, распространившись на историю культуры, символов, ритуалов, гендерных отношений, идей, событий (в частности, революций) и биографий [47, с. 304]. Таким образом, историческое сравнение сумело доказать свою полезность, адаптируясь к новым задачам, которые ставили ученые.

Ниже я остановлюсь на наиболее удачных примерах сравнительного анализа в разных областях и направлениях современных исторических исследований. В заключительной главе будет дан обзор работ, в которых в сравнительном ключе рассматривается история России.

## СРАВНЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Сравнительным исследованиям в экономической истории с момента их подъема в 1950-х гг. был присущ ряд характерных черт. Во-первых, они всегда напрямую связывались с задачами собственно экономической теории: об этом писала в 1957 г. Сильвия Трапп [140], о том же говорят и нынешние сторонники историко-экономической компаративистики. Так, Тимоти Хаттон, Кевин О'Рурк и Алан Тэйлор в программной вступительной статье к изданному ими сборнику «Новая сравнительная экономическая история» (*The New Comparative Economic History*, 2007) отмечают, что это направление руководствуется вопросами, поставленными экономистами: среди таких вопросов — источники экономического роста, значение институтов и влияние глобализации. И, чтобы не осталось каких-либо сомнений по поводу ориентации новой субдисциплины, авторы подчеркивают далее, что она «вдохновляется дебатами академических экономистов и людей, принимающих решения (policymakers), а не повесткой дня, заданной историками» [134, с. 2].

Во-вторых, экономические историки всегда активно использовали количественные методы, и сторонники *The New Comparative Economic History* продолжают традицию клиометрики [там же, с. 1–2]. Вместе с тем сравнительная экономическая история в начале XXI в. существенно отличается от классических образцов полувековой давности.

Прежде всего изменился масштаб сравнения: он стал глобальным. Сравнения на уровне национальных государств, абсолютно преобладавшие во времена У. Ростоу и А. Гершенкрона, уже не устраивают нынешних экономистов. Кроме того, они не ограни-

чиваются изучением Западной Европы и США; в поле исследования теперь находятся также Япония, Латинская Америка и весь остальной мир [там же, с 2, 4, 5]. Расширились и хронологические рамки: экономические историки оперируют эпохами в несколько веков и даже тысячелетий. В качестве примера можно привести недавно вышедшую книгу Энгаса Мэддисона «Контурсы мировой экономики в 1–2030 гг.: Очерки по макроэкономической истории» (2007, рус. пер.: М., 2012). Правда, будучи настоящим кладом статистической информации об экономиках разных эпох, эта работа не является в собственном смысле слова компаративистской: основной акцент автор сделал не на сравнении регионов или континентов, а на их взаимном влиянии, поэтому книгу Мэддисона следует отнести к направлению глобальной истории. Но глобальный подход вполне может сочетаться со сравнительным методом, как это с успехом продемонстрировал Кеннет Померанц в исследовании, о котором пойдет речь ниже.

Увеличение масштаба сопровождалось радикальным изменением исследовательской перспективы. Теория стадий экономического роста Уолта Ростоу (см. выше, ч. I, гл. 4) в свое время дала толчок сравнительно-историческим исследованиям, но они же впоследствии привели к ее дискредитации [49, с. 7], так что сейчас, по словам П. К. О’Брайена, от концепции Ростоу остается только памятная всем терминология [136, с. 7366]: «взлет» (*take-off*), «зрелость» (*maturity*) и т. д. И дело не только в том, что некоторые положения его теории не выдержали эмпирической проверки, но и в том, что ряд присущих ей особенностей (вполне в духе концепций модернизации 1950–1960-х гг.) — европоцентризм, линейность и неизменная последовательность стадий и др. — оказались неприемлемы с методологической точки зрения для последующего поколения исследователей.

Если для У. Ростоу и ученых его поколения лидерство Британии в промышленной революции казалось естественным и само собой разумеющимся, то в принятой сейчас глобальной перспективе этот факт нуждается в объяснении. Почему экономический рывок произошел именно в Западной Европе XIX в., а не в каком-нибудь другом регионе мира? — так ставит вопрос американский исследователь Кеннет Померанц в получившей широкую извест-

ность книге «Великое расхождение: Китай, Европа и формирование новой (modern) мировой экономики» (2000).

В отличие от своих предшественников, Померанц не склонен приписывать успех Британии действию эндогенных факторов: тезису об английской (и шире — европейской) исключительности он противопоставляет наблюдения ряда современных исследователей, в том числе собственные работы (автор является специалистом по истории Китая), в которых подчеркивается удивительное сходство многих параметров экономического развития Западной Европы и Восточной Азии еще в середине XVIII столетия. «Отнюдь не будучи уникальными, — пишет Померанц, — наиболее развитые части Западной Европы, по-видимому, характеризовались теми же ключевыми экономическими чертами — коммерциализацией, превращением в товар изделий, земли и труда, рыночно обусловленным ростом, а также приведением домохозяйствами рождаемости и распределения рабочей силы в соответствие с экономическими тенденциями, — что и другие густонаселенные центральные области в Евразии» [138, с. 107] (в первую очередь ученый имеет в виду долину Янцзы в Китае).

С методологической точки зрения заслуживает также внимания введенное американским историком понятие «двухстороннего» (*two-way*), или «реципрокного» (*reciprocal*), сравнения, при котором ни одно из сопоставляемых обществ не принимается за образец или норму, а скорее, с точки зрения взаимного восприятия, оба являются «девиациями» [там же, с. 8, 9]. Кроме того, Померанц справедливо критикует свойственную европоцентричным концепциям индустриализации манеру принимать за единицы сравнения современные национальные государства, когда Британия сравнивается с Китаем или Индией. Но по своим размерам, населению и внутреннему разнообразию, резонно полагает ученый, Китай и Индия сравнимы скорее с Европой в целом, чем с отдельными европейскими странами; а какой-нибудь регион внутри одного из этих двух субконтинентов, сам по себе сравнимый с Британией или Нидерландами, теряется в средних показателях, включающих азиатские эквиваленты Балкан, Южной Италии, Польши и т. д. «За исключением случаев, когда государственная политика находится в центре рассказываемой истории, — резюмирует Померанц, —

нация не является единицей, хорошо переносящей путешествия (the nation is not a unit that travels very well)» [там же, с. 7].

Итак, сравнив наиболее развитые районы Западной Европы и Восточной Азии в доиндустриальный период, исследователь пришел к выводу, что ни один из них не имел возможности вырваться из экономического тупика, обусловленного различными ограничениями (прежде всего экологического характера: нехваткой земли), за счет собственных ресурсов. Поэтому промышленная революция представляется Померанцу не очередным этапом развития, а резким скачком, разрывом с прежним застойным состоянием. И то, что именно Британия оказалась способна совершить этот рывок, ученый склонен объяснять внешними или случайными причинами: наличием там больших залежей угля и эксплуатацией колоний, откуда доставлялись сельхозпродукты, драгоценные металлы и иные необходимые ресурсы.

Другой американский экономический историк, Грегори Кларк, дал иное объяснение той же проблемы. В книге «Прощай, нищета!»<sup>1</sup> (2007) он подробно описал так называемую «мальтузианскую ловушку», т. е. ограничения, в течение многих веков сдерживавшие развитие экономики, когда рост населения при тогдашнем состоянии техники неизбежно приводил к падению материального уровня жизни людей. Британская промышленная революция, позволившая вырваться из этой «ловушки», представляется Кларку во многом загадочным событием. Тем не менее, в отличие от Померанца, он не склонен объяснять ее внешними или случайными обстоятельствами. Кларк подчеркивает плавный, эволюционный характер развития, отмечая стабильный, хотя и небольшой в годовом исчислении, экономический рост в Англии в 1600–1760 и 1780–1860 гг. [131, с. 326–327, 337]. Что же касается компаративистских аргументов Померанца и его указаний на наличие рынков земли, труда и капитала в Японии и Китае около 1800 г., то Кларк считает эти предпосылки совершенно недостаточными для ускоренного экономического роста. Ученый прибегает к весьма убедительному

---

<sup>1</sup> Такое название дано книге в русском переводе. В оригинале — “*A Farewell to Alms*” — аллюзия на известный роман Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!» (*The Farewell to Arms*).

диахроническому сравнению, показывая, что в Англии 1300 г. рыночные институты и, соответственно, экономические стимулы (в духе теории Адама Смита) были даже более благоприятны, чем в 2000 г., однако в Средние века они не давали того эффекта, как в наши дни [там же, с. 213, и табл. 8.1 на с. 214].

Решающую роль в объяснении экономических успехов Англии Кларк отводит культурным факторам, включая образ жизни и уровень образования, а по этим показателям Япония, Китай и Индия к 1800 г. значительно отставали от Великобритании [там же, с. 364–370]. Пытаясь объяснить динамизм английского общества, его склонность к инновациям, ученый обращает также внимание на особенности демографических процессов: уровень рождаемости в богатых британских семьях, как и уровень нисходящей мобильности, был значительно выше, чем в китайской и японской элитах. Соответственно, в первом случае нравы и культура среднего класса гораздо глубже проникали в нижние этажи социальной иерархии. «Можно предположить, — заключает Кларк, — что преимущества Англии заключались в быстром культурном, а возможно также и в генетическом, распространении ценностей экономически успешного слоя по всему обществу в 1200–1800 годах» [там же, с. 375].

Свое мнение по обсуждаемым вопросам высказал недавно и известный британский экономический историк Роберт Аллен. Отдавая должное институциональным, культурным и географическим различиям, «непосредственными причинами» (*immediate causes*) экономического неравенства между странами он считает технические изменения, глобализацию и экономическую политику. Более того, промышленная революция, по его мнению, стала результатом первой фазы глобализации, начавшейся в конце XV в. вместе с эпохой великих географических открытий. В этой «первой глобализации» ученый видит истоки последующего «великого расхождения» [129, с. 29].

Важное место в объяснительной модели Аллена отведено уровню реальной заработной платы работников: если она низка, то пропадает стимул к техническим инновациям, а значит — и к экономическому росту. Поэтому исследователь полагает, что промышленная революция была не только причиной высоких заработков, но и их следствием [там же, с. 25]. По той же причине

изобретения, которые приносили прибыль в Англии, оказывались неэффективными в бедных странах.

На примере упадка индийской текстильной промышленности (не выдержавшей конкуренции с британскими ткацкими станками) Аллен убедительно показывает, что оборотной стороной европейской индустриализации стала деиндустриализация древних мануфактур Азии. В середине XX в. проблема азиатской экономики понималась в смысле модернизации «традиционных обществ»; на самом же деле «традиционность» тут ни при чем: «Отсталость и слаборазвитость, — справедливо замечает Аллен, — были продуктом глобализации XIX столетия и западного промышленного развития» [там же, с. 89].

Как показывает проанализированная в этой главе дискуссия о причинах британского «экономического чуда» XIX в. и об истоках «великой дивергенции» между Востоком и Западом, сравнительной экономической истории присущи некоторые характерные особенности, отличающие ее от других тематических полей современной исторической компаративистики. Прежде всего бросаются в глаза глобальный масштаб и широкие хронологические рамки этих исследований — в духе тех «гигантских сравнений» (*huge comparisons*), к которым в свое время призывал коллег социолог Чарльз Тилли. Сходство с исторической социологией наблюдается и в использовании сравнений для выяснения причин изучаемых процессов.

Между тем в социальной и культурной истории, судя по приведенным выше заявлениям таких известных компаративистов, как Питер Болдуин и Дебора Коэн, исследователи уже, похоже, разочаровались в возможностях сравнения применительно к установлению причинно-следственных связей (см. ч. II, гл. 2). Кроме того, «гуру» современной исторической компаративистики, Ю. Кокка и Х.-Г. Хаупт, а также Дж. Фредриксон, как мы помним, настойчиво рекомендуют ограничивать количество сравниваемых объектов двумя-тремя случаями (см. выше, с. 160–161).

Отмеченная специфика сравнительной экономической истории объясняется, на мой взгляд, тесной связью этого направления исследований с экономической теорией, ориентацией ученых на задачи и методы экономической науки.

## СРАВНЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Будучи старейшим жанром историописания, политическая история давно стала полем сравнительных исследований. Так, еще в 1890 г. Ш.-В. Ланглуа обращал внимание на многочисленные соответствия между органами управления английской и французской монархии в Средние века: королевскими куриями Плантагенетов и Капетингов, Палатой шахматной доски в Англии и Счетной палатой во Франции, английскими судами королевской скамьи и общих тяжб и французским парламентом, шерифами — с одной стороны, бальи и сенешалями — с другой и т. д. [50, с. 261]. С тех пор политические институты двух стран, разделенных Ла-Маншем, не раз становились объектом сравнительного анализа.

Как мы помним, сопоставлению некоторых обрядов и верований, существовавших при английском и французском дворах, посвятил свою знаменитую книгу Марк Блок. Однако по постановке проблемы и избранному подходу, напоминавшему антропологическое исследование, его «Короли-чудотворцы» (1924) заметно отличались от принятой тогда институциональной истории, в том числе компаративистской. Характерными примерами этого жанра можно считать вышедшие в межвоенный период работы Ш. Пти-Дютайи, О. Хинце и Г. Миттайса.

Монография Шарля Пти-Дютайи «Феодальная монархия во Франции и в Англии X–XIII веков» быстро завоевала признание специалистов и вскоре после выхода в свет (1933) была переведена на несколько языков, в том числе на русский [145]. Обосновывая избранный им порядок изложения, при котором история французской монархии «изображалась <...> в одной плоскости с историей монархии английской», ученый указывал на «симбиоз» обеих

стран в течение большей части описываемого периода, когда английские короли, начиная с завоевания 1066 г., были нормандского или анжуйского происхождения, говорили по-французски и много времени проводили во Франции [там же, с. 355]. Пользуясь модной сейчас терминологией, можно сказать, что Пти-Дютайи предложил один из ранних опытов того, что теперь именуется «перекрестной историей» (*histoire croisée*) или «переплетенными историями» (*entangled histories*). Но, в отличие от сторонников этих популярных в наши дни направлений, французский ученый важную роль в своем труде отвел сравнению.

Он охотно прибегает к контрасту, подчеркивая, например, слабую романизацию Британии в отличие от Галлии [там же, с. 40], а впоследствии — раннее развитие в Англии налоговой системы и в итоге большие финансовые возможности английских королей по сравнению с французскими [там же, с. 136, 182]. Но историк отмечает также и сходство некоторых институтов: так, вопреки историографической традиции, он видит в английском «парламенте» XIII в. не прообраз существующего ныне законодательного органа, а ту же королевскую курию расширенного состава, что и одноименное французское учреждение того же времени [там же, с. 336]. Не проходит ученый и мимо случаев заимствования: он показывает, в частности, что институт бальи в местном управлении был введен Филиппом-Августом во Франции по образцу англо-нормандских учреждений [там же, с. 154, 176–177]. В целом, благодаря сравнению, Пти-Дютайи удалось, говоря его же словами, пролить «на историю обоих народов <...> немножко больше света» [там же, с. 355].

В жанре «сравнительной конституционной истории» (*vergleichende Verfassungsgeschichte*) написана книга известного немецкого историка права Генриха Миттайса «Государство Высокого Средневековья» (1940). Проследившая эволюцию государственных институтов в феодальной Европе X–XIII вв., исследователь тщательно фиксировал особенности отдельных изучаемых стран: Германской империи, Италии, Франции, Англии (страны Восточной Европы, Скандинавии и Пиренейского полуострова удостоились в труде Миттайса лишь беглых упоминаний). Он, в частности, отмечал ограниченность частной юрисдикции в Англии по сравне-

нию с феодальным иммунитетом на континенте, а также редкость там, в отличие от Франции, междоусобных войн (файды) и отсутствие уже со времен Альфреда Великого частных замков [152, с. 168–170]. Таким образом, под пером Г. Миттайса сравнение служило, главным образом, целям индивидуализации и выявления вариантов в рамках общей картины формирования и развития средневековых государств.

Отто Хинце, крупнейший, наряду с Марком Блоком, компаративист предвоенного времени, использовал сравнительную историю институтов для построения типологий, некоторые из которых не утратили своей научной ценности вплоть до наших дней. Так, по признанию Хельмута Кёнигсбергера, единственную попытку создания общей теории сословного представительства в европейской истории предпринял в 1930–1931 гг. О. Хинце<sup>1</sup>. Напомню, что немецкий ученый противопоставил друг другу два типа сословно-представительных учреждений: более древний двухпалатный парламент (как в Англии), возникший на окраинах Каролингской империи, и более поздний, состоящий из трех палат (как французские Генеральные штаты) и характерный для территории бывшего ядра этой империи [149]. Разумеется, предложенная Хинце типология объясняет далеко не всё; в частности, Х. Кёнигсбергер привел пример страны, которая абсолютно не вписывается в данную схему: Нидерланды находились в самом сердце Каролингской империи, но там в разных провинциях существовали и двух-, и трех-, и даже однопалатные представительные учреждения<sup>2</sup>. Однако, хотя концепция Хинце не свободна от недостатков, альтернативы ей нет и по сей день.

После Второй мировой войны хронология сравнительных исследований в области политической истории значительно расширилась, включив в себя XIX и XX столетия, а тематика существенно обновилась: предметом изучения компаративистов стали такие явления, как революции, фашизм и иные диктаторские режимы, абсолютизм, «государство всеобщего благосостояния» и т. д.

---

<sup>1</sup> *Koenigsberger H. G. Politicians and Virtuosi: Essays in Early Modern History.* London and Ronceverte, 1986. P. 6.

<sup>2</sup> *Ibid.* P. 7–8.

Развивая традиции немецкой сравнительной институциональной, или конституционной, истории (*vergleichende Verfassungsgeschichte*), Теодор Шидер в середине 1960-х гг. разработал оригинальную типологию формирования национальных государств в Европе. Первый тип, который ученый назвал национально-революционным или национал-демократическим, возник, по его мнению, в эпоху революций XVII–XVIII вв. в Англии и во Франции. Суть этого процесса состояла в преобразовании *уже существовавших* государств на новых принципах, принципах воли народа и гражданства [155, с. 62–63]. Второй тип, по мысли историка, сложился уже на другом, более позднем, этапе и в ином регионе Европы — в Италии и Германии: в этом случае речь шла о создании национального государства из частей политически раздробленной нации, т. е. о национальном объединительном движении [там же, с. 63]. Наконец, третий тип национального государства складывается еще позднее и характерен для Восточной Европы — зоны господства трех больших империй (Габсбургской, Османской и Российской), которые для местных национальных движений XIX в. казались «тюрьмами народов». Там существующее государство являлось враждебной силой, противостоявшей национальным традициям. Поэтому все национальные государства Восточной Европы — от Сербии, Греции, Болгарии, Румынии до балтийских стран — возникли путем *отделения* от великих держав [там же, с. 64–65].

Сам Т. Шидер прекрасно понимал условность предложенной им схемы: «...как всегда в истории, — писал он, — систематизации не хватает предельной точности» [там же, с. 65]. Поэтому, охарактеризовав в общих чертах три типа и соответствующие им три этапа формирования национальных государств, ученый сделал ряд оговорок, подчеркнув, в частности, что названные этапы неоднократно пересекались. Так, движения в сторону отделения от великих держав часто одновременно были объединительными, как это видно на примере Польши, Югославии или Болгарии после ее разделения на Берлинском конгрессе. Великобритания как государство являлась продуктом юнионистского движения, в которое была втянута Шотландия, а позднее при помощи насилия — и Ирландия. Последняя со своим требованием отмены союза (*repeal of the Union*) представляет наглядный пример фор-

мирования национального государства посредством отделения, со всеми чертами, присущими этому типу, в более мягкой форме проявившимися также в Норвегии и позднее в Исландии.

Наконец, Италия, по наблюдениям Шидера, демонстрирует случай национально-государственного движения, проходящего через все три фазы. На первом этапе итальянцы испытали непосредственное влияние Французской революции: понятие Италии впервые введено этой революцией, и с тех пор его уже больше не удалось вытеснить. Но само основание итальянского национального государства относится ко второй фазе — фазе национальных объединительных движений Центральной Европы. Однако, поскольку цель национально-государственного объединения всех итальянцев не была тогда достигнута и неосвобожденная часть Италии (*Italia irredenta*) оставалась еще под властью Австрии, то итальянцы приняли участие в третьей фазе, фазе отделения, наряду с народами Южной Европы. Это участие в трех больших этапах истории европейского национального государства, от похода Наполеона 1796/1797 г. до мирных договоров, заключенных в пригородах Парижа в 1919 г., замечает Шидер, придало итальянскому национальному сознанию многослойную структуру. Оно содержит национально-демократические элементы 1789 г., отразившиеся в непрерывной либеральной традиции итальянской политики, но также и сильные унитаристские черты из фазы объединительного движения (Рисорджименто); а из третьего этапа происходит ирредентистский уклон итальянского национального сознания, проявляющийся в сильной реакции на вопросы о национальных границах и в интересе к культурно-языковой стороне итальянского характера (*Italianità*) [там же, с. 66].

Начиная с 60-х гг. XX в. одно из центральных мест в компаративистике — как исторической, так и социологической — заняло сравнительное изучение революций. Поворот к этой тематике замечен уже в двухтомном труде Р. Р. Палмера «Эпоха демократической революции» [153], хотя сравнение, как я отметил выше (см. с. 70), и не играло ключевой роли в этой книге. Зато оно стало «знаменем» американской исторической социологии 1960–1980-х (подробнее см.: ч. I, гл. 6), уделившей особое внимание феномену революций во всемирно-историческом масштабе.

Так, Баррингтон Мур в рамках своей общей концепции перехода от доиндустриального к современному (модерному) обществу сопоставил гражданскую войну XVII в. в Англии, Великую Французскую революцию и Гражданскую войну в США, которую он рассматривал как «последнюю капиталистическую революцию» [125, гл. 1–3]. А ученица Мура Теда Скочпол провела сравнительный анализ французской, российской и китайской революций, чтобы выявить причины успешных социальных революций в целом [126] (подробный разбор этой книги см.: ч. I, гл. 6).

В начале 1980-х гг. известный американский социолог Джек Голдстоун подвел предварительные итоги сравнительно-исторического изучения революций. Основное внимание он уделил ключевому вопросу: почему возникают революции? Обобщая высказанные в научной литературе суждения на этот счет, Голдстоун заключил, что к революциям приводит сочетание нескольких факторов: паралич государства, когда оно не способно справиться с многочисленными проблемами; конфликты внутри правящей элиты, а также городские и сельские восстания [157, с. 200]. Но поскольку упомянутые явления часто происходят отдельно друг от друга и не сопровождаются революционными потрясениями, то их совпадение во времени, порождающее то, что Голдстоун называет революционной конъюнктурой, само нуждается в объяснении. Одни ученые решающую роль в возникновении революционного кризиса отводят военному поражению, другие — долговременным экономическим изменениям. Сам Голдстоун усматривал корни революций в длинных волнах роста населения и продовольственных цен [там же, с. 204–205] (обоснованию теории демографических причин революций ученый посвятил большую книгу, в которой сравнил политические кризисы в Европе и Азии раннего Нового времени [124]).

Историки тоже отдали дань увлечению поиском причин революций. Так, Лоренс Стоун посвятил специальную книгу анализу причин английской революции XVII в. (1972). Интересно, что в последовавшей затем дискуссии между ним и рецензентом книги Хельмутом Кёнигсбергером оба оппонента активно использовали сравнение в своей аргументации. Оспаривая значение, которое Стоун придавал отсутствию постоянной армии и местной

бюрократии как факторам ослабления английской монархии, Кёнигсбергер ссылаясь на опыт Франции и Испании, где, по его мнению, ни армия, ни бюрократия не были главными инструментами утверждения абсолютизма [156, с. 104–105]. А Стоун, отстаивая свою точку зрения, подчеркивал контраст между французской монархией, победившей Фронду благодаря наличию больших военных и финансовых ресурсов и поддержке местной бюрократии, и английской монархией, проигравшей гражданскую войну из-за отсутствия того и другого [там же, с. 109].

Как и социологи, историки в 60–70-х гг. XX в. пытались с помощью сравнения уточнить понятие революции, отделив это явление от ненасильственных изменений в обществе, с одной стороны, и от обычных бунтов, восстаний и т. д. — с другой (в этом плане показательна статья П. Загорина: [159]). Но впоследствии в историографии под влиянием «культурного поворота» интерес к построению идеальной модели революции, как и к поиску ее причин в той или иной стране, был утрачен, и сравнение стало использоваться с другими целями. Хорошим примером современной сравнительной истории революций может служить книга британского историка Стивена Смита «Революция и народ в России и Китае» (2008).

Во введении к книге Смит подчеркивает отличия избранного им подхода к сравнению революций от того, который доминировал в этой тематике ранее — прежде всего в трудах исторических социологов — и был направлен на создание теорий революции, моделей каузального объяснения или тестирование гипотез относительно истоков и условий, роли классов и партий, типичных стадий развития революции и ее типичных результатов. Подобным «нотетическим попыткам», основанным на вторичной литературе, т. е. предлагающим интерпретации других интерпретаций и часто лишенным детального социально-политического и культурного контекста, важного для практикующего историка, Смит противопоставляет свой «стиль сравнительной истории», для которого характерен интерес не столько к «большим структурам, крупным процессам, гигантским сравнениям» (название известной книги Ч. Тилли [128]. — М. К.), сколько к культуре, человеческой деятельности и контекстам на микроуровне, в которых

индивиды действуют и которые их формируют. Вместо попытки построить всеобъемлющую модель революции исследователь стремится выявить сходства и различия между двумя революциями, строя локальные наблюдения индуктивно, на основе тщательного изучения первоисточников [158, с. 8].

Центральной категорией анализа в работе британского историка служит понятие идентичности: революции в России и Китае, по мнению С. Смита, в значительной мере представляли собой конфликт по поводу идентичностей [там же, с. 15]. Кем ощущали себя вчерашние крестьяне, ставшие рабочими в Петербурге между 1880-ми и 1917 г. и в Шанхае в период с 1900-х до 1949 г.? Каково было в их среде соотношение между индивидуализмом и коллективизмом, между классовым и национальным сознанием? Как менялось положение женщин? Эти и подобные вопросы ставит в своей книге Стивен Смит.

Несмотря на очевидные различия культур и стартовых экономических условий в России и Китае начала XX в., социокультурные процессы в обеих странах обнаруживают немало сходных черт. Пусть тенденция к индивидуальному самовыражению проявилась в России к 1917 г. гораздо заметнее, чем в Китае к 1949 г.; тем не менее традиции иерархического коллективизма оказались очень устойчивыми и в том, и в другом обществе, а впоследствии горожане — вчерашние мигранты, лишь недавно освободившиеся от опеки патриархальной семьи или общины, — обрели защиту в новых коллективных структурах, созданных партией и государством [там же, с. 108–109]. В конце концов коллективизм одержал победу над личностью в обоих коммунистических режимах, но, как убедительно показывает С. Смит, классовая идентичность стала ответом не только на капиталистическую эксплуатацию, но и на систематическое неуважение, которое ощущали по отношению к себе рабочие люди [там же, с. 110].

Сходство заметно и в других аспектах социальной жизни, в частности — в гендерных отношениях, где наблюдался распад патриархальной семьи и утверждалось равноправие женщин (последнее, правда, больше на словах, чем на деле) [там же, с. 149–150, 234]. Характерно также переплетение классовой и национальной идентичности как в российской, так и в китайской рабочей

среде [там же, с. 190–191]. В целом же, хотя в коммунистических режимах было гораздо меньше простора для самовыражения индивида, чем при капитализме, будь то в сфере потребления, высокой культуры или религии, тем не менее развитие личности рабочего шло по направлениям, не определяемым политикой центральных властей, пропагандой и репрессиями: социальные и демографические процессы вне досягаемости государства, новые формы городской жизни, культурные изменения, включая секуляризацию и культ науки, — все это, подчеркивает Смит, формировало идентичность рабочих при коммунистическом строе. «Коммунизм тоже был формой современности (modernity)», — заключает автор [там же, с. 235].

Социокультурный «уклон» наблюдается и в новой теме сравнительной политической истории, разработка которой активно началась в 90-е гг. XX в., — истории формирования так называемого «государства всеобщего благосостояния». Исследователей интересует классовая основа политики социального обеспечения в разных странах Европы (П. Болдуин), а также гендерные аспекты подобной политики, включая поддержку семьи и охрану материнства и детства (А. Клаус, С. Педерсен; подробнее об этих работах см. выше, ч. I, гл. 4).

Однако XX в. породил не только феномен социального государства, но и такое мрачное явление, как фашизм. Как известно, этот термин — итальянского происхождения, и первоначально он применялся для обозначения режима Б. Муссолини. Оправданно ли в таком случае его использование в качестве обобщающего понятия, охватывающего также и германский нацизм, и диктаторские режимы в Венгрии, Румынии и некоторых других странах? По справедливому замечанию немецкого историка Вольфганга Виппермана, ответ на этот вопрос возможен только на основе сравнительного исследования [143, с. 18–19]. Проведя подобное исследование движений XX в., которые представители разных политических лагерей (коммунисты, либералы, консерваторы) считали фашистскими, ученый пришел к выводу о том, что общее понятие фашизма действительно имеет смысл и сохраняет свою эвристическую ценность [там же, с. 174, 180]. Он подчеркивает глубокое сходство во внешнем облике, целях, идеологии и поли-

тической тактике фашистских движений в разных странах: всем им была свойственна иерархическая структура во главе с вождем, особый политический стиль (униформа, массовые демонстрации, марши и т. д.), открытое одобрение и применение насилия, а также амбивалентная идеология, в которой переплетались антикапиталистические и антикоммунистические, антимодернистские и ультрасовременные мотивы, а крайний национализм соседствовал с транснациональными моментами [там же, с. 172].

Но при сходстве основных черт европейский фашизм отличался значительным разнообразием форм. Випперман различает три варианта фашизма, находившегося у власти: итальянский «нормальный» фашизм, немецкий «радикальный» фашизм и фашизм «сверху» в балтийских странах, Польше, Венгрии, Румынии, Испании и Португалии. Особенностью фашизма в Восточной и Южной Европе было отсутствие там (или крайняя слабость) массовых фашистских партий; поэтому в этих странах, в отличие от Италии и Германии, фашизм опирался не на партию, а на армию и полицию, и спускался «сверху», а не поднимался к власти снизу [там же, с. 182].

Широкая распространенность фашизма на европейском континенте ставит перед исследователями ряд непростых проблем: в частности, не удастся установить корреляцию между уровнем социально-экономического развития страны и возникновением там фашизма, поскольку фашистские движения, как напоминает Випперман, существовали и в развитых промышленных, и в аграрных обществах. Поэтому, по справедливому замечанию немецкого историка, «теории, связывающие фашизм с определенной стадией развития капитализма или процесса модернизации, не выдерживают критики» [там же, с. 177]. Вообще он считает бесперспективными попытки объяснить это явление из единого принципа и построить его глобальную теорию. Полезнее, на его взгляд, продолжить эмпирическое сравнительное изучение фашизма [там же, с. 180].

Хотя проблемы истории XX в. занимают центральное место в современной исторической компаративистике, не забыты и более отдаленные эпохи. Среди тем, которые в последние десятилетия активно изучались в сравнительном ключе, оказалась типология

государств раннего Нового времени, как принято называть период между концом Средневековья и Великой французской революцией.

Широкую известность получил труд Перри Андерсона «Родословная абсолютистского государства» (1974), в котором британский историк проследил пути развития европейских монархий при «старом режиме». Будучи марксистом, Андерсон в основу своего анализа положил классовую структуру изучаемых обществ в эпоху кризиса феодальных отношений. Он подверг ревизии знаменитый тезис исторического материализма об абсолютизме как продукте временного равновесия сил между старой землевладельческой аристократией и поднимающейся буржуазией. По мнению Андерсона, на протяжении всей эпохи раннего Нового времени господствующим классом как в экономике, так и в политике оставалась феодальная аристократия. Однако ей пришлось приспособиться к новым товарно-денежным отношениям, чтобы сохранить свое господство и над крестьянством, и над городской буржуазией [141, с. 17–20, 23].

Модель европейского абсолютизма, по Андерсону, представлена двумя видами: западным и восточным. Социальной основой западноевропейского абсолютизма служили крестьяне, уже освобожденные от крепостного права, и жители влиятельных городов; а на востоке Европы абсолютизм строился на основе крепостного права в деревне и порабощенных городов [там же, с. 169]. Но помимо эндогенных факторов важную роль в объяснении генезиса восточноевропейского абсолютизма британский историк отводил причинам геополитического характера, указывая на решающее влияние Западной Европы на формирование государственных структур ее восточных соседей. По словам Андерсона, «международное давление западного абсолютизма, как политического аппарата более мощной феодальной аристократии, управлявшего более развитыми обществами, вынудило восточную знать создать такую же централизованную государственную машину, для того чтобы выжить» [там же, с. 185].

Можно заметить, что при переходе с запада на восток Европы логика аргументации исследователя кардинально меняется: если при анализе генезиса западного абсолютизма основной акцент он делал на внутренних причинах социально-экономического харак-

тера (стремлении феодалов удержать свое господство в условиях рыночного хозяйства и перед лицом свободного крестьянства), то применительно к Восточной Европе, где социально-экономические условия были существенно иными, Андерсону для объяснения возникновения той же политической «надстройки» пришлось прибегнуть к геополитическому аргументу — военному давлению Запада на менее развитый Восток.

Впрочем, нужно признать, что отнюдь не в общей концепции генезиса европейского абсолютизма, весьма уязвимой для критики и не получившей широкой поддержки за рамками марксистской историографии, заключается главное достоинство труда П. Андерсона, снискавшее ему заслуженную известность в науке. Успех книги во многом обязан мастерству сравнительного анализа, продемонстрированного автором, сумевшим представить выразительные «портреты» отдельных монархий и подчеркнуть их особенности в рамках общей модели абсолютизма. Запоминается характеристика Испании — сложного государства, состоявшего из двух очень разных политических организмов, королевств Кастилии и Арагона; впечатляют примеры Швеции, в которой удивительным образом абсолютизм сложился на основе свободного крестьянства и слабых городов, а также шляхетской Польши, крах которой, по мысли автора, служит доказательством от противного «исторической рациональности абсолютизма для дворянского класса» [там же, с. 260].

Мимоходом брошенная П. Андерсоном фраза об ошибочности самого термина «абсолютизм», поскольку «ни одна западная монархия никогда не получала абсолютную власть над своими подданными в значении неограниченного деспотизма» [там же, с. 47], предвосхитила тенденцию дальнейшего развития историографии по данной теме. Книга британского историка Николаса Хеншелла «Миф абсолютизма» (1992) целиком посвящена обоснованию тезиса, лаконично сформулированного Андерсоном в процитированном выше высказывании. Сравнение не играет существенной роли в работе Хеншелла, поэтому я не буду на ней подробно останавливаться. Упомяну только о настойчивых попытках автора пересмотреть привычные представления о контрасте между французским абсолютизмом и английской ограниченной монархией: опираясь

на исследования 1980-х гг., Хеншелл подчеркивает традиционный характер власти французских королей, включая Людовика XIV, и, «нормализуя» образ французской монархии, нивелирует различия между ней и британской короной<sup>3</sup>.

Наконец, следует сказать несколько слов о масштабном проекте европейских историков по изучению генезиса государства Нового времени (*État moderne/modern state*). Проект, несомненно связанный с политическим и экономическим объединением Европы, стартовал в 1984 г. и осуществлялся сначала при поддержке французского Национального комитета научных исследований, а затем — Европейского научного фонда. С середины 1980-х до середины 1990-х гг. состоялось более десяти круглых столов и конференций по этой тематике, материалы которых были опубликованы (библиографию проекта см.: [151, с. 308–350; 148, с. 3–4]). Затем в 1995–2000 гг. в издательстве Оксфордского университета вышли семь томов под общим названием «Истоки государства Нового времени в Европе, XIII–XVIII века».

Хотя с самого начала проект задумывался как сравнительный (см.: [151, с. 286]), сравнение как таковое нечасто встречается на страницах опубликованных томов. Так, например, Питер Бликле, Стивен Эллис и Ева Эстерберг, сравнив народное представительство и влияние петиций на законодательный процесс в Германии, Англии и Швеции изучаемого периода, пришли к выводу, что во всех трех странах это влияние было значительным и что само право на подачу петиций — отличительная черта европейской государственности, неизвестная Османской империи и азиатским странам [154, с. 151]. Но в целом огромный материал по многим странам Западной и Центральной Европы, собранный в ходе реализации проекта, еще не освоен и не сопоставлен в полной мере. О возможности использования модели «модерного государства» применительно к российской истории пойдет речь в заключительной главе этой книги.

---

<sup>3</sup> См.: Хеншелл Н. Миф абсолютизма: Перемены и преемственность в развитии западноевропейской монархии раннего Нового времени / пер. с англ. А. А. Паламарчук и др. СПб., 2003, особенно гл. 4, 5.

## СРАВНЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Сравнительная социальная история принадлежит к числу наиболее активно развивающихся областей компаративистики; ее тематика очень разнообразна: составленная Хартмутом Кэлбле в 1999 г. библиография работ, относящихся к этому направлению исследований, насчитывает более 250 наименований [29, с. 163–179].

Социальная история гораздо моложе политической и даже экономической истории: ее подъем начался лишь в послевоенные десятилетия; при этом предмет занятий историков социального с трудом поддается определению. Британский историк Питер Берк напомнил популярную до недавнего времени характеристику, которую дал социальной истории его соотечественник Джордж М. Тревельян: «история, из которой выброшена политика (a history with politics left out)». Сам Берк предложил вместо этого негативного определения свое, позитивное: по его словам, «новая социальная история» — это «изучение социальных изменений в конкретных сообществах»; причем под «социальными изменениями» понимается изменение социальной структуры, т. е. групп, которые образуют общество [163, с. 9].

Разумеется, с тех пор как П. Берк предложил это определение (1974), социальная история продолжала развиваться и расширяться, включив в себя такие новые темы, как история гендера, социального обеспечения, образования, миграций и т. д. И все же, думается, ядро этого направления исследований схвачено им верно: речь идет прежде всего об изучении в динамике отношений между социальными группами в том или ином обществе. Оставляя в стороне сравнительную историю семьи и родства<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Введением в эту важную проблематику может служить книга: Семья, дом

в настоящей главе я сосредоточу внимание на работах, в которых сопоставляется положение важнейших общественных групп (словий, классов, слоев) со времен Средневековья до наших дней.

Истоки сравнительного анализа средневековых обществ восходят к классическим трудам Макса Вебера, Отто Хинце и Марка Блока.

Вебер оставил в «наследство» следующим поколениям ученых модель средневекового города, и сейчас некоторые работы по сравнительной урбанистике начинаются со своего рода «оммажа» великому немецкому социологу (см. соответствующее признание в книге Дэвида Николаса: [184, с. 1]).

Возникший в Средневековье западноевропейский город, по мнению М. Вебера, существенно отличался и от античного полиса, и от азиатских городов. В отличие от древних Афин или Рима, средневековый западный город был союзом индивидов, а не родов; в отличие же от азиатских городов, он представлял собой общину и (в юридическом смысле) корпорацию горожан. Вебер выделил пять признаков такого города, для которого характерно наличие: 1) укрепления, 2) рынка, 3) своего суда и собственного права, 4) корпоративности, 5) хотя бы некоторой автономии и самоуправления [181, с. 323]. Городские крепости и рынки существовали и на Востоке, но три остальных признака были присущи, как полагал Вебер, лишь городской общине Запада [там же].

Веберовская модель, построенная на противопоставлении «средневекового города Запада» и «азиатского города», не просто европоцентрична: она соответствует лишь части Западной Европы («области к северу от Альп»), где, по словам ученого, «развитие носит идеально-типический характер во всей его чистоте» [там же, с. 330]. Города Восточной Европы, включая Россию, не являлись предметом специального интереса для немецкого социолога: несколько раз он упоминает Москву «до отмены крепостного права», называя ее «вотчинным городом» [там же, с. 312] и городом «континентального типа», напоминающим Веберу «большой восточный город <...> времени Диоклетиана, ибо там проживались

---

и узы родства в истории / под общей ред. Т. Зоколлы, О. Кошелевой и Ю. Шлюмба. СПб., 2004 (здесь же на с. 272–281 — аннотированная библиография).

ренты тех, кто владел землей и людьми, и доходы от должностей» [там же, с. 415].

Современные исследователи продолжают использовать веберовскую модель средневекового города, но существенно раздвигают географические рамки ее применения. Так, швейцарский историк Рудольф Мументалер, проведя сравнение крупнейших позднесредневековых городов Северной Италии (Милан, Сиена, Венеция) и Германии (Нюрнберг, Мюнхен, Кёльн, Любек и др.), с одной стороны, и городов Восточной и Юго-Восточной Европы (включая Краков, Львов, Киев, Новгород, Псков, Москву, Рагузу, болгарские и византийские города и т. д.) — с другой, пришел к неожиданному для себя выводу о том, что Новгород и Псков отвечают всем критериям, установленным Вебером для западного города [183, с. 67]. Он обнаружил у этих вечевых республик Северо-Запада немало общих черт с итальянскими городами-государствами. Остальные же русские города (подобно болгарским и сербским) исследователь отнес к типу княжеских резиденций, которые не обладали ни автономией, ни собственным судом и правом и т. д. [там же].

Едва ли длительную самостоятельность Новгорода и Пскова можно объяснить только отсутствием там собственных княжеских династий, как это делает швейцарский ученый: вероятно, следует учесть и экономический фактор — в частности, вовлеченность обоих русских городов в интенсивную балтийскую торговлю. Но предложенная Мументалером на базе веберовских критериев более широкая типология средневековых европейских городов, безусловно, заслуживает внимания.

Общие представления о социальном строе Средневековья в современной историографии прочно связаны с концепцией феодализма, на формирование которой большое влияние оказали два выдающихся историка — Отто Хинце и Марк Блок. Напомню, что оба ученых не считали феодальный строй исключительно западноевропейским явлением, признавая наличие подобных порядков в Японии (а Хинце находил также особые варианты феодализма в исламских странах и в Московской Руси, см. выше, с. 43).

На протяжении XX в. историки обнаруживали феодализм всё в новых и новых странах. Концепция русского феодализма, пона-

чалу, после выхода работ Н. П. Павлова-Сильванского, вызвавшая большие споры (см. выше, ч. I, гл. 7), в 1930-е гг. прочно и, как казалось, навсегда утвердилась в отечественной историографии. Советские историки находили феодализм не только в Древней Руси, но и в Прибалтике, и в странах Закавказья (см.: Пути развития феодализма. М., 1972). Не стоит, однако, видеть в этом лишь особенности советской историографии: поисками локальных вариантов феодализма (по Марксу или по Марку Блоку) были увлечены тогда историки многих стран; в литературе можно найти описания феодальных порядков в Японии, Китае, Индии и даже Эфиопии (примеры подобных работ приведены в статье Сьюзан Рейнолдс: [180, с. 197–198, 213, 216]).

Но по мере того, как множилось число вариантов феодализма, размывалась его базовая модель. Первые сомнения были высказаны в 1970-х гг., причем для этого не понадобились наблюдения японистов или африканистов: к тому времени ученые уже достаточно осознали внутреннюю неоднородность и разнообразие, присущие самой западноевропейской средневековой цивилизации. Так, в 1970 г. тогда еще малоизвестный за пределами СССР московский медиевист А. Я. Гуревич обратил внимание на несоответствие скандинавских, английских, византийских и древнерусских реалий традиционной модели феодализма, построенной на северофранцузском материале [161, переизд. 1999 г., с. 194, 195]. А несколькими годами позднее Элизабет Браун в нашумевшей статье, опубликованной в журнале *American Historical Review* под названием «Тирания конструкта» (1974), оспорила полезность и необходимость самой концепции феодализма.

Но самый большой удар по сложившимся представлениям нанесла книга С. Рейнолдс «Фьефы и вассалы», в которой британская исследовательница показала, что свидетельства средневековых источников не укладываются в прокрустово ложе теории феодализма. Так, понятие вассалитета, по мнению Рейнолдс, скрывает по меньшей мере полдюжины разных типов отношений, которые нужно различать: это отношения правителя и подданного, патрона и клиента, лендлорда и держателя земли, хозяина и работника, командира и воина и т. д. [179, с. 33]. Особенно ошибочным историк считает привычное представление о некоем периоде (по-разному

датируемом разными историками!), когда якобы произошла «встреча» вассалитета и феода и первоначально межличностные отношения приобрели территориальный характер [там же, с. 46]. В целом понятие вассалитета, одновременно слишком размытое и узкое, уже не отвечает имеющимся данным и, по убеждению Рейнолдс, не может служить инструментом для дальнейшего изучения средневекового общества [там же, с. 47].

Не лучше обстоит дело и с понятием феода: этот термин (как и «бенефиций» и «аллод») до XII в. и даже позднее, как отмечает исследовательница, использовался не столь часто и не так последовательно, как принято считать. В Англии, например, слово *feodum* не относилось исключительно к рыцарскому держанию, но обозначало любую свободную и наследственную собственность [там же, с. 68, 394]. Английский материал вообще играет важную роль в аргументации Рейнолдс: в частности, опыт английской монархии с ее ранней централизацией и сильным бюрократическим аппаратом явно противоречит распространенным представлениям о «феодальной анархии».

Важный вывод исследовательницы состоит в том, что стройная теория феодального права, вместе с сопутствующей идеей «феодальной пирамиды» и «иерархии феодальных держаний» легшая в основу научных концепций феодализма, является творением профессиональных юристов (начиная от североитальянских ученых XII в., авторов трактата *Libri Feodorum*, до февдистов XVI–XVII вв.) и королевских чиновников [там же, с. 3–8, 73–74, 256–257], и эта теория скрывает от нас подлинное разнообразие средневековой жизни.

Особый интерес для нашей темы представляют соображения С. Рейнолдс о влиянии традиционной концепции феодализма на сравнительные исследования: «То, что историки считают традиционную модель идеальным типом, а отклонения рассматривают как исключения или аномалии, — полагает она, — мешает им исследовать как моменты единообразия, так и вариации. Опора на [эту] модель позволяет им работать в рамках своих особых национальных традиций, обходясь минимумом сравнений и используя модель для заполнения лакун в имеющихся у них данных» [там же, с. 479].

«Феодализм, при любом его определении, — утверждает Рейнолдс в недавно опубликованной статье, — уже исчерпал свою полезность в качестве инструмента сравнительной истории. Попытка втиснуть одно общество в золушкину тужельку сложной модели, заимствованной из другого общества, — это, конечно, не лучший метод сравнения» [180, с. 215]. Категории типа «феодальный» или «капиталистический», признает она, имеют свою ценность, но они не могут охватить все существенные черты обществ. «Ярлычки имеют тенденцию отвлекать от пристального и критического изучения того, что находится под ними», — справедливо напоминает британская исследовательница и рекомендует начинать со сравнения отдельных сторон различных обществ: экономики, технологии, политических структур и идей, правовых систем, религий [там же, с. 215–216]. Так эмпирическим путем Рейнолдс, по сути, пришла к осознанию максимы, которую ранее сформулировали теоретики компаративного метода (см. выше, ч. II, гл. 4): общества, как и другие сложные системы, нельзя сравнивать целиком; сравнение возможно лишь в каком-то отношении.

От дебатов о феодализме перейдем к рассмотрению эпохи, которая лишь в марксистской традиции считается феодальной: речь пойдет о XVII столетии. Этому динамичному и трагическому периоду посвящено несколько сравнительных исследований, в их числе книга Питера Берка «Венеция и Амстердам» (1974), в которой параллельно изучаются патрицианские элиты названных городов на протяжении 140 лет, с последних десятилетий XVI в. до примерно 1720 г. Британский историк сопоставил источники доходов, политические функции, образ жизни, взгляды и системы ценностей, образование венецианской знати и амстердамской городской верхушки. Особый интерес этому сравнению придает тот факт, что Венеция представляла собой сословное общество, а Амстердам — классовое (большая редкость для Европы XVII в.): в одном городе власть и богатство определялись в основном статусом человека, в другом — наоборот: статус зависел от власти и богатства [163, с. 16].

Книга построена на контрасте: в Венеции доминировали кланы, а в Амстердаме основной ячейкой социальной жизни являлась нуклеарная семья; в голландском городе были сильнее

выражены индивидуализм и ориентация на личный успех [там же, с. 27–32]. Венецианцы правили не только своим городом, но обширной империей; функции амстердамского городского совета были скромнее, но ввиду той важной роли, которую играл их город в жизни Нидерландов, там тоже обсуждались политические вопросы. Отличался даже внешний облик «отцов» того и другого города: венецианские нобили не жалели средств на пышные публичные церемонии (часто будучи бережливými в личном быту), а амстердамские бургомистры и члены городского совета внешне мало чем отличались от остальных горожан и обходились без церемоний [там же, с. 62, 65–66]. Вместе с тем в развитии двух крупнейших республик XVII в. и их элит было немало общего: и венецианская знать, и амстердамские богатые бюргеры стали больше доходов собирать с земли, чем получать от морской торговли, а дух предпринимательства стал постепенно уступать место духу рантье [там же, с. 104, 108].

Хотя города были средоточием власти и богатства, но основная масса населения в обществе «старого порядка» проживала в деревне. Крестьянству и его социальному протесту в XVII в. посвятил сравнительное исследование известный французский историк Ролан Мунье. Он сравнил крестьянские восстания в трех странах, сильно отличавшихся друг от друга по своей социальной структуре: Франции, России и Китае.

Мне сложно судить о том, насколько адекватно Мунье описал китайское крестьянство (соответствующие главы полностью основаны на англо- и франкоязычной литературе). Что же касается России, то, несмотря на явную зависимость автора от немногочисленных работ зарубежных русистов, этот раздел представляет несомненный интерес благодаря постоянному сравнению с французским обществом раннего Нового времени, прекрасным знатоком которого был Мунье.

Ключевая метафора, к которой прибегает автор, говоря о русском обществе конца XVI–XVII в., — «народ, лишенный корней» [178, с. 156, 157]. Причины такого положения Мунье видит в опричном терроре Ивана Грозного, опустошительной Ливонской войне, татарских набегах и иных факторах (эпидемиях, неурожаях), заставлявших людей покидать насиженные места. В той же

плоскости ученый рассматривает и процесс колонизации, а также образование казачьего «фронттира» на окраинах. Этому образу страны с кочующим, словно перекаати-поле, населением Мунье противопоставляет родную для него Францию, «самой природой» поделенную на особые регионы, жители которых в течение многих поколений вращались в местную почву, становившуюся для них землей предков, которую все социальные группы были готовы сообща защищать. «России, — полагает историк, — недоставало этих сильных территориальных сообществ, маленьких отчизн, которые во Франции давали приют каждому восстанию, объединяя местные группы для защиты местных привилегий и свобод. Великие русские восстания могли развертываться на обширных просторах, охватывая массы народа, которые не сильно отличались друг от друга, хотя и будучи разделены сотнями километров» [там же, с. 159].

Таким образом, Мунье склонен объяснять размах народных движений в России XVII в. (от Ивана Болотникова до Степана Разина) отсутствием областного партикуляризма и в целом слабой дифференциацией русского общества по сравнению с французским того же времени [там же, с. 178]. Возможно, ученый преувеличил «текучесть» населения Московского государства (следуя давней историографической традиции, зародившейся в самой российской науке XIX в.) и недооценил степень развития местного патриотизма, присущего жителям отдельных исторических областей России, но сама правомерность постановки данной проблемы, продиктованной выявленными серьезными отличиями двух аграрных обществ, на мой взгляд, сомнений не вызывает.

В заключительном разделе книги, подводя итоги сравнению крестьянских восстаний во Франции, России и Китае XVII в., Мунье пришел к выводу о том, что их главной причиной во всех трех странах стала деятельность государства, проявившаяся и в росте налогов, и в урезании прав и привилегий подданных [там же, с. 306–308, 332, 348]. Он также заметил, что крестьяне не были инициаторами этих волнений, которые всегда начинали какие-то другие социальные элементы [там же, с. 327]. Наконец, задаваясь вопросом о целях восставших, французский историк подчеркнул отсутствие у них какой-либо программы, и лишь в России

во времена Стеньки Разина казаки и крестьяне, как показалось Мунье, «думали о революции» [там же, с. 344]. Причины такого «революционного духа», отличавшего русских крестьян XVII в. от французских и китайских, ученый видел в происходившем в России процессе закрепощения, а также ограничении социальной мобильности [там же, с. 345].

Русское крестьянство стало объектом еще одного сравнительного исследования: в книге Питера Колчина «Несвободный труд» (1987) сопоставлены две одновременно существовавшие на разных континентах исторические формы такого подневольного труда — американское рабство и русское крепостничество. Тем самым впервые в одной работе оказались объединены две важные темы, которые ранее изучались отдельно друг от друга и «обросли» солидной историографией, соответственно, в США и России. Замысел ученого состоял как раз в том, чтобы, рассмотрев обе формы несвободы в одном исследовательском поле, представить каждую из них в необычном свете, поколебать привычные представления и выдвинуть новые гипотезы.

В своей книге американский историк активно использует контрастное сравнение. Так, он противопоставляет образ жизни плантаторов, постоянно находившихся на своих фермах, абсентеизму русских помещиков, которые предпочитали оставлять имения на попечение управляющих, так что крепостные редко видели своих господ. В России эти отношения были гораздо более безличными, чем в Америке между плантаторами и их рабами, заключает Колчин [176, с. 58] и выводит отсюда различия в характере освобождения рабов и крестьян в 1860-х гг. (насиленное в США и сравнительно мирное в России). Сплоченность русской крестьянской общины контрастирует с разобщенностью рабов, что, по мнению Колчина, объясняет частоту крестьянских волнений и бунтов в России и редкость открытых выступлений американских рабов. Если крепостные крестьяне знали о важнейших событиях в стране (вроде восшествия на престол нового царя или царицы) и ощущали себя частью «большого» общества, то американским рабам не было присуще это чувство и за национальными событиями они не следили [там же, с. 326]. Суть различий между двумя социальными системами Колчин лаконично

сформулировал в предисловии к книге: американский Юг «был миром рабовладельца; сельская Россия была миром крестьянина» [там же, с. XII].

Но, наряду с различиями, важны и черты сходства между этими двумя институтами личной зависимости: по наблюдениям автора, русское крепостничество к концу XVIII столетия приближалось по своей сути к рабству, а отношение дворян к крестьянам напоминало уже расовую рознь: помещики, подчеркивая разницу между собой и крепостными, дошли практически до расовых аргументов и рассматривали крестьян как другой народ [там же, с. 170, 173, 180].

Книга Колчина получила широкую известность, хотя и вызвала неоднозначные оценки. Отношение к ней историков-русистов было весьма критическим; особенно строгим оказался «приговор» М. Конфино, который не только оспорил ряд конкретных выводов автора (например, об абсентеизме русских помещиков: по мнению рецензента, такое поведение отнюдь не было типичным для русских дворян [166, с. 1132–1135]), но и отрицал саму возможность сравнения между рабством и крепостничеством, между русским сословным обществом XVIII–XIX вв. и американским Югом с его классовыми и расовыми различиями [там же, с. 1136–1139; 167, с. 107, 109–110].

Американисты отнеслись к книге Колчина более благожелательно: так, Дж. Фредриксон, отметив, что эта работа не изменила его представлений о плантаторах американского Юга, в то же время признал, что предложенный автором новый взгляд на русское крепостничество кажется ему действительно важным достижением [170, с. 73].

Но самую высокую оценку упомянутому труду дали компаративисты, причем те, кто не имел прямого отношения ни к американистике, ни к русистике. Например, Питер Болдуин (специалист по истории Западной Европы XIX–XX вв.) назвал книгу Колчина «одним из лучших образцов сравнительной истории», особо отметив умение автора так построить сравнение, что сопоставляемые им случаи «высвечивают и обогащают друг друга» [36, с. 16]. А ранее медиевист Сюзан Рейнолдс признала это «сравнение несвободы в двух разных обществах с различными экономикami

и правовыми системами <...> чрезвычайно стимулирующим мысль» [179, с. 481, примеч. 5].

На мой взгляд, мастерство Колчина-компаративиста действительно заслуживает похвалы, а гиперкритицизм М. Конфино едва ли оправдан. Что касается поставленного критиком вопроса о сопоставимости крепостнической России и американского рабовладельческого Юга, то, как было показано в предыдущей части учебного пособия (см. ч. II, гл. 3), сравнимость не является объективным свойством самих объектов, а устанавливается в ходе исследования. Скептицизм израильского историка означает лишь, что аргументы Колчина его не убедили. Но напрасно Конфино полагает, что русское крепостничество может быть названо рабством лишь в метафорическом смысле [166, с. 1137]. Формально-юридический подход здесь вряд ли уместен, и необходимо учитывать эволюцию крепостного права в России: если в начальный период своего существования, в XVII в., оно больше напоминало средневековый серваж, то к концу XVIII столетия приобрело явные черты рабства, и в этом плане очень характерны упомянутые американским исследователем попытки крепостников найти «расовые» отличия между собой и крестьянами. Хотя Колчин не приводит ранее неизвестных фактов или архивных документов, он ставит новые важные вопросы и предлагает новые интерпретации изучаемых явлений, что, несомненно, может быть поставлено ему в заслугу.

В середине XIX в. и помещики-крепостники, и плантаторы-рабовладельцы — при любой оценке экономической эффективности крепостного и рабовладельческого хозяйства<sup>2</sup> — выглядели уже как представители старой, уходящей эпохи. «Героями» нового

---

<sup>2</sup> П. Колчин приводит единодушное мнение американистов о том, что накануне Гражданской войны экономика плантаций Юга находилась на подъеме [176, с. 370]. Вопрос об экономическом потенциале русской крепостнической системы накануне ее отмены более спорен: в новейшей литературе высказано мнение, что хозяйства, основанные на крепостном труде, вплоть до 1861 г. приносили владельцам доход и не испытывали кризиса [208, т. 1, с. 400, 409]. Однако в любом случае к середине XIX столетия обе формы подневольного труда уже рассматривались как анахронизм и в социальном и этическом плане были никак не совместимы с нормами новой капиталистической эпохи.

времени были предприимчивые дельцы, промышленники-капиталисты. Коллектив немецких историков под руководством Юргена Кокки издал в 1980-х гг. целую серию книг, посвященных европейской буржуазии XIX в. в сравнительной перспективе и самому феномену «буржуазности» (см. один из сборников: [164]). Американский исследователь Блэр Рубл сравнил развитие трех крупнейших мегаполисов — Чикаго, Москвы и Осаки — в период промышленного бума конца XIX — начала XX в. и нашел немало общего в политике руководителей этих городов (мэра Чикаго Картера Харрисона, московского городского головы Николая Алексева и мэра Осаки Секи Хаджиме), которую он назвал «прагматическим плюрализмом» [185].

Но смена правящего класса произошла далеко не сразу: аристократия «старушки Европы» не спешила сдавать свои позиции разбогатевшим буржуа. Британский историк Доминик Ливен задался вопросом о том, как высшая знать пережила XIX в., как она адаптировалась к происходившим переменам. С этой целью он сравнил судьбы английской, российской и германской аристократии в период между Венским конгрессом (1815) и началом Первой мировой войны. Исследователя интересовали имущественное положение верхушки дворянства и источники ее благосостояния, образ жизни, воспитание и образование представителей знати, их военная карьера и участие в политике.

Получилась довольно пестрая картина. Прежде всего оказалось, что понятие «европейская аристократия» объединяет очень разные по своему статусу, политическому и культурному влиянию социальные группы. Так, только английское сословие пэров, занимавшее места в высшей палате британского парламента — Палате лордов, можно назвать правящим классом в полном смысле слова. Зато в Германии, где аристократическая элита так и не сложилась, исключительным влиянием пользовался многочисленный слой небогатого сельского дворянства — прусское юнкерство. А уникальными чертами благородного сословия России являлись высокий культурный уровень и художественная одаренность многих его представителей: дворянство никакой другой европейской страны не дало миру такого количества писателей и композиторов первой величины, как русская аристократия [162, с. 217].

Процесс утраты знатью своего лидирующего положения в обществе был неотвратим, однако в разных странах и в разных сферах жизни он проходил с разной скоростью. Английская аристократия лучше других сумела адаптироваться к реалиям капиталистической эпохи, но свое политическое могущество она к началу XX в. в значительной мере утратила. Прусское юнкерство и русская землевладельческая элита, напротив, меньше преуспели на экономическом поприще, но накануне Первой мировой войны их влияние на политику своих стран на некоторое время даже выросло [там же, с. 269, 295–296, 299].

Промышленная революция повлекла за собой стремительный рост городского пролетариата, которому было суждено сыграть ключевую роль в ряде важнейших событий XIX–XX вв. Сравнительная история труда (*labor history*) — успешно развивающееся направление современной компаративистики.

Немецкая исследовательница Христиана Айзенберг сравнила профсоюзное движение в Германии и Англии XIX в. и пришла к выводам, которые вносят существенные коррективы в ранее сложившиеся научные представления. Ученые давно заметили определенную асинхронность в развитии рабочего движения в названных странах: в Англии очень рано, еще в XVIII в., стали возникать тред-юнионистские организации, а собственно рабочая (лейбористская) партия была основана лишь в начале XX столетия; в Германии же, наоборот, социал-демократическая партия появилась уже в 1863 г., а немецкие профсоюзы в то время только начали формироваться: заметный прорыв в этом отношении был достигнут лишь в 1890-х гг. Обычно такое «аномальное» — на британском фоне — развитие германского рабочего движения связывали с запоздалой индустриализацией (согласно теории А. Гершенкрона) и рассматривали как одно из проявлений «особого пути» (*Sonderweg*) Германии. Опираясь на работы компаративистов 1980-х гг. и результаты собственного исследования, Айзенберг показала, что относительно ранее образование в Германии социал-демократической партии (1863) не может свидетельствовать об опережающем политическом развитии немецких рабочих по сравнению с их британскими товарищами: скорее в этом раннем и незрелом партийном строительстве (сопостави-

мом с чартистским движением в Англии 1840-х гг.) стоит видеть заполнение организационного вакуума, вызванного отсутствием в Германии профсоюзов, формированию которых мешали долго сохранявшиеся в немецких землях цеховые структуры [168].

Из исследований недавнего времени, в которых сравнивается положение рабочих разных стран, особого упоминания заслуживает статья Яна Лукассена о кирпичниках в Западной Европе XVIII–XIX вв. и Северной Индии XIX–XX вв. Ученый серьезно подошел к решению поставленной им перед собой задачи и постарался обеспечить принцип «равенства прочих условий» (*ceteris paribus*), т. е. свести к минимуму расхождения между сравниваемыми «кейсами», за исключением различий, обусловленных географической средой и культурными факторами. Поэтому он остановился на ручном производстве кирпича как сравнительно простой и единообразной по всему миру технологии и выбрал для сопоставления периоды времени, когда технические усовершенствования еще не успели внести кардинальные изменения в процесс производства: в Западной Европе — до 1900 г., а в Индии — до начала 2000-х гг. [177, с. 514]. Помимо доступных письменных источников (в том числе архивных), историк привлек материалы интервью с современными индийскими кирпичниками. Теоретическое значение предпринятого Лукассеном компаративистского исследования состояло в том, чтобы доказать принципиальную сравнимость поведения рабочих в разных культурах, в чем некоторые авторитетные ученые выражали сомнения. В частности, Дипеш Чакрабартти назвал серьезной ошибкой убеждение, будто современные капиталистические отношения наемного труда по всему миру основаны на принципах гражданства, индивидуализма и равенства перед законом. В своей работе о джутовых фабриках Калькутты в конце XIX — первой половине XX в. Чакрабартти отмечал «иерархическую и неэгалитарную природу отношений», в которых находились индийские рабочие, и указывал на «недемократические культурные коды индийского общества» [цит. по: там же, с. 514–515].

Результаты проведенного Лукассеном сравнительного «эксперимента» вполне оправдывают затраченные им усилия. Тщательно изучив организацию труда кирпичников и формы их коллектив-

ного протеста в нескольких странах Западной Европы (Англии, Бельгии, Германии) и Северной Индии, ученый не обнаружил никаких принципиальных различий: организация работы и трудовые отношения в этих удаленных друг от друга регионах мира оказались во многом сходными [там же, с. 569]. Как справедливо отмечает Лукассен, такой итог может служить «рекламой глобальной рабочей истории и сравнительной истории» [там же].

В заключение я кратко упомяну еще об одной перспективной теме компаративных исследований в области социальной истории — сравнительном изучении социальной мобильности. В 1980-х гг. Хартмут Кэлбле сопоставлял показатели мобильности (шансы на получение образования и успешную карьеру) в разных странах Европы и в США в XIX–XX вв. [175]. В 1990-е гг. вперед выдвинулось сравнительное изучение мобильности другого рода — миграций, включая трудовую миграцию, положение этнических меньшинств в разных городах и странах и т. д. Значительный вклад в разработку этой темы внесла американская исследовательница Нэнси Грин, автор книги об иммигрантках-работницах фабрик готовой одежды в Париже и Нью-Йорке в конце XIX и XX в. (1997), а написанные ею обзорные статьи могут служить неплохим введением в указанную проблематику [171, 172, 42].

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛИЗМА, ИМПЕРИЙ И КОЛОНИАЛИЗМА

В этой главе мы рассмотрим три взаимосвязанные темы сравнительно-исторических исследований, которые по своему масштабу не помещаются ни в одну из предложенных выше условных рубрик. Действительно, явление национализма может изучаться как с политической, так и с социальной, культурной и иных точек зрения. То же относится и к феномену империй и процессу колонизации.

Существует несколько конкурирующих теорий национализма. Их критический обзор предложил недавно британский историк Кристофер Бейли в книге «Рождение нового мира, 1780–1914» (2004); от других подобных обзоров его отличает глобальная сравнительная перспектива, в которой автор рассматривает обсуждаемую проблему.

Основные разногласия между теоретиками национализма касаются вопроса о том, являются ли современные нации реальными сообществами, имеющими корни в предшествующем периоде истории. Энтони Смит и другие «примордиалисты» настаивают на том, что нации естественным образом выросли из более ранних этнических групп. «Конструктивисты», или «модернисты», напротив, считают нации изобретением националистов Нового времени, расходясь при этом в определении причин появления национализма: одни ученые, подобно Эрнесту Геллнеру, объясняют его возникновение процессом модернизации, превращающим вчерашние аграрные общества в индустриальные; другие решающую роль приписывают государству и политическим факторам (Джон Бройи, Эрик Хобсбаум), а третьи подчеркивают значение

печатного слова, газет и книг, в формировании «воображаемого сообщества» — нации (Бенедикт Андерсон)<sup>1</sup>.

По справедливому замечанию К. Бейли, все эти концепции стоит рассматривать скорее как приемы интерпретации, чем теории в собственном смысле слова: они помогают пролить свет на тот или иной случай национализма конца XIX в., но не обладают предсказательной силой, и ни одна из них, взятая по отдельности, не в состоянии объяснить ни природу, ни время возникновения национализма [89, с. 202].

Суммируя имеющиеся в научной литературе наблюдения, британский историк признает, что некоторые нации конца XIX в. в Европе (например, Англия и Франция) и за ее пределами (Вьетнам, Шри-Ланка, Япония) имеют более длинные «родословные», чем другие. Однако это вовсе не отрицает того факта, что во многих регионах мира в то же самое время национальное чувство было сформировано государством. Что же касается тезиса Э. Геллнера о связи национализма с капиталистической индустриализацией, то ему больше всего соответствует ситуация в Центральной и Восточной Европе, и именно она возникла перед мысленным взором знаменитого антрополога, когда он формулировал свою теорию. Действительно, конфронтация между чехами, немцами и венграми в Австрийской империи происходила в условиях быстрой урбанизации: население Праги, например, выросло с 157 тыс. человек в 1850 г. до 514 тыс. в 1900-м. То же справедливо для Германии и отчасти Италии (по крайней мере Пьемонта, который был новым индустриальным центром). Но, как напоминает Бейли, сильные националистические движения возникли и в тех обществах, в которых индустриализация оставалась на низком уровне [там же, с. 203]. А концепция Б. Андерсона с ее акцентом на роли воображения, разделенного чувства и печатной продукции в изобретении национализма отлично подошла к тем территориям,

---

<sup>1</sup> Неплохое представление о различных концепциях национализма дает изданный в русском переводе сборник, в котором представлены статьи Б. Андерсона, Э. Смита, Э. Геллнера, М. Гроха и других исследователей этой проблемы: *Нации и национализм* / пер. с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского. М., 2002.

которые еще не были затронуты капитализмом и урбанизацией и даже не имели сильной государственной власти, но где люди тем не менее выдвинули претензии на статус нации. Поэтому, по мнению Бейли, работа Андерсона о «воображаемых сообществах», выросшая из изучения колониальной голландской Индонезии, приобрела популярность у историков-специалистов по Индии и Африке XIX в. [там же, с. 204].

Наблюдения К. Бейли заставляют вспомнить о словах М. Блока, предостерегавшего коллег от попыток объяснять локальными причинами явления общеевропейского масштаба [32, с. 74–75]: очевидно, что в случае с национализмом мы имеем дело с процессом, охватившим в течение последних двух столетий весь мир. В соответствии с местной спецификой в разных странах в дело вступали различные факторы (экономические, политические, религиозные и т. д.), но победное шествие национализма по планете все равно продолжалось.

Однако отсутствие единой всеобъемлющей теории национализма не мешает историкам успешно изучать отдельные аспекты этого сложного явления, в том числе при помощи сравнительного метода. Одним из удачных примеров такого сравнительно-исторического исследования может служить работа чешского ученого Мирослава Гроха, странным образом не попавшая в поле зрения Кристофера Бейли.

Профессор пражского Карлова университета Мирослав Грох (р. 1932) еще в 1960-х гг. приступил к сравнительному изучению национальных движений XIX в.; широкая известность пришла к нему после публикации в издательстве Кембриджского университета монографии «Социальные условия национального возрождения в Европе: Сравнительный анализ социального состава патриотических групп малых европейских наций» (1985).

В отличие от «конструктивистов», Грох вовсе не считал нацию продуктом национального сознания; напротив, для него нация — «фундаментальная реальность», а национализм — явление, производное от нее [174, с. 3]. В своей книге чешский историк сосредоточил внимание на «пробуждении» малых, или угнетенных, наций Центральной, Восточной и Северной Европы, входивших в состав империй (Габсбургов и Романовых) или иных государственных

образований. Грох различал три фазы в развитии национальных движений: период академического интереса к народному языку, фольклору и т. д. (фаза А); период патриотической агитации (фаза В), которому он придавал решающее значение, и, наконец, период подъема массового национального движения (фаза С). Эти фазы ученый соотнес с общим процессом перехода от феодальных отношений к буржуазным, где выделил две стадии: до победы капитализма и после нее [там же, с. 22–23]. Наложив друг на друга две шкалы, национального и общественно-экономического развития, Грох получил основу для типологии изучаемых им движений.

Первый, интегрированный, тип, по мнению Гроха, был характерен для чехов, норвежцев и финнов: в этом случае фаза национальной агитации (В) совпала по времени с промышленным переворотом, а массовое национальное движение (фаза С) — с буржуазной революцией. Таким образом, вновь возникшая современная (*modern*) нация быстро обрела полную классовую структуру. Второй тип, названный историком «запоздалым», характеризовался отсроченным наступлением фазы С — уже после формирования пролетариата — и наблюдался у словаков и литовцев. Третий, «мятежный», тип Грох локализовал в Македонии и Болгарии, но отдельно в своей работе не изучал. Наконец, четвертый тип («распадающийся»), описанный на примере фламандского движения в Бельгии, отличался тем, что национальная агитация (фаза В) началась там уже на стадии развитого капиталистического общества, а фаза массового движения (С) наступала очень поздно или вообще никогда [там же, с. 25–28].

Но не в этой типологии, которую можно считать данью интеллектуальной моде 1960-х гг. (ср. выше, ч. III, гл. 2, типологию национальных государств Теодора Шидера), заключается главное достоинство труда Мирослава Гроха и секрет его успеха. Наибольшую ценность имеет центральная часть книги, в которой на основании списков членов общественных организаций, подписчиков патриотических изданий и других подобных документов произведен сравнительный количественный анализ состава участников национальных движений в Европе XIX в. Результаты исследования, похоже, оказались неожиданными даже для самого автора. Выяснилось, что никакой класс или социальная группа не зани-

мали достаточно стабильного места в структуре патриотических сообществ, чтобы можно было утверждать, что участие этой группы в национальном движении было постоянным и необходимым [там же, с. 129]. Таким образом, успех фазы В, нацеленной на подъем национального сознания, не зависел от исключительного участия той или иной группы. Не было и «типичной» комбинации подобных социальных групп [там же, с. 155]. Этот вывод коррелирует с приведенными выше более поздними наблюдениями К. Бейли о «вездесущности» национализма, которому в разных странах мира благоприятствовали разные факторы.

Особенно удивительно под пером историка-марксиста (которым, бесспорно, оставался Мирослав Грох) выглядело его утверждение о том, что буржуазия отнюдь не играла лидирующей роли в национальных движениях угнетенных народов Европы [там же, с. 134]. Так тщательно проведенное эмпирическое компаративистское исследование способствовало избавлению от ряда историографических стереотипов и мифов. Но в книге были и важные позитивные выводы, подкрепленные большим сравнительным материалом. В частности, историк убедительно показал значение городской среды в процессе национального «пробуждения» народов Центральной и Восточной Европы: лидеры чешского, норвежского, финского, фламандского движений происходили из интеллигенции или средних городских слоев, и только в Литве, Эстонии и Белоруссии, где национальный подъем произошел с большим запозданием, патриоты имели в основном крестьянские корни [там же, с. 157–160]. Хотя предложенная Мирославом Грохом типология была в дальнейшем оспорена новым поколением историков, изучающих проблемы европейского национализма (см.: [49, с. 7 и примеч. 21]), его книга остается замечательным образцом сравнительного исследования.

История империй и имперской политики стала в последние десятилетия темой многочисленных компаративистских работ, но при этом, по признанию ученых, она, в отличие от национализма, страдает, скорее, от недостатка теорий, способных объяснить складывание империй и их упадок [187, с. 33]. Да и само понятие империи, применяемое к самым разным политическим образованиям в истории, от древности до наших дней, остается расплыв-

чатым. Неудивительно поэтому, что уже упоминавшийся выше британский историк Доминик Ливен, сравнивший в своей книге судьбы Британской, Османской, Австро-Венгерской и Российской империй, отказался дать «чересчур строгое и “научное” определение» данного ключевого термина. По образному выражению Ливена, «империя — это сложная и изысканная область науки, населенная леопардами и другими дикими созданиями. Свести все это к определениям и формулам — значит превратить леопарда в домашнюю киску, дефективную, уродливую, трехногую и бесхвостую» [206, с. 640].

На самом деле, конечно, любой практикующий историк исходит из своего понимания изучаемого им предмета. Так, Ливен делает акцент прежде всего на внешнеполитическом измерении: для него империя — «это могучая держава, оказавшая большое влияние на международные отношения своего времени» [там же, с. 20]. Он также имеет в виду характерные для империи методы управления — абсолютно недемократические — большими территориями и мультиэтническими конгломератами [там же]. А для американского исследователя Альфреда Рибера (кстати, как и Ливен, специалиста по истории России) главное в империи — контроль одной этнической группы над другими в границах определенной территории [187, с. 34].

Как отметил недавно А. И. Миллер, если раньше сравнение империй Романовых, Габсбургов и Османов было призвано выявить их отсталость и неминуемый упадок, продолжавшийся последние два века их существования, то новые компаративистские исследования переносят акцент с традиционных черт этих империй на модели их приспособления к вызовам нового времени [190, с. 19, 20]. Сам Миллер полагает, что потенциал перечисленных империй (за исключением, возможно, Турции) отнюдь не был исчерпан к началу XX в., коллапс не был предопределен и лишь Первая мировая война положила конец их истории [там же, с. 32].

Альфред Рибер сделал предметом своего сравнительного исследования именно долговечность и жизнеспособность континентальных империй. Ученый называет три фактора, способствовавшие их длительной стабильности и постепенному обновлению: имперскую идеологию, бюрократию и защиту границ [187, с. 39].

На примере политики России, Австро-Венгрии и Турции Рибер показывает динамизм имперской идеологии (чередование светских и религиозных образов и т. д.) и эволюцию структур управления. Особый интерес представляет предложенная историком типология евразийских границ: западноевропейская государственная граница, исламская и «динамическая» [там же, с. 54]. Так, границы империй Габсбургов и Романовых с европейскими государствами относились к первому типу: они были устойчивы и четко определены в соответствии с международными соглашениями, но на юго-востоке Габсбурги в течение столетий граничили с исламским миром, а Российская империя имела «динамическую» границу, где оседлое сельское население продвигалось навстречу кочевой культуре. Рубежи Османской империи (как и Иранской) относились к исламскому типу [там же, с. 55].

Характерный прием сравнительной истории империй — противопоставление континентальных держав морским, колонии которых находились вдали от метрополии. Как подчеркивает Рибер, континентальные империи, в отличие от своих соперников, имевших заморские колонии, не могли устанавливать разные формы правления в центре и на периферии. Введение конституционной системы в одной части евразийской империи требовало ее введения и на остальных территориях государства. К чему это могло привести, видно на примере Габсбургской империи после 1867 г., Османской — после 1876 г., Российской — после 1905 г.: сразу обнаруживалось серьезное противоречие между «абсолютной» властью правителей и конституционной властью представительного органа, между унитарным характером государства и требованием большей территориальной автономии на периферии — автономии, которая была опасна экономическим проникновением более развитых иностранных держав и ослаблением политического контроля центра над уязвимыми окраинами [там же, с. 66].

Но поскольку континентальные империи еще и граничили между собой, то они, как напоминает А. И. Миллер, сильно влияли друг на друга, образуя единую макросистему. Если Великобритания, например, могла сколько угодно подстрекать горцев Кавказа против российских властей, не опасаясь осложнений со стороны собственных подданных-мусульман, то в отношениях между

соседними империями все было иначе. Если бы Австро-Венгрия поддержала польские или украинские движения в Российской империи, ей пришлось бы скорректировать политику по отношению к «своим» полякам или русинам-украинцам [190, с. 30–31].

Одним из признаков империи принято считать наличие колоний. Среди многочисленных исследований, в которых проводится сравнение колониальной политики великих держав (см.: [186, 189, 192]), особо выделяется фундаментальная монография профессора Оксфордского университета Джона Эллиотта «Империи Атлантического мира: Британия и Испания в Америке, 1492–1830» (2006). Американские колонии двух этих стран, как напоминает автор, противопоставлялись еще в XVIII в. [188, с. 403–404], и с тех пор не раз делались попытки обобщить различия между ними. В частности, в 1970-х гг. историк Джеймс Ланг определил испанские владения в Америке как «империю завоевания», а британские — как «империю коммерции». Однако Эллиотт считает такой подход к решению проблемы упрощением: по его наблюдениям, уже начиная с самых первых экспедиций мотивы английских и испанских колонизаторов не поддаются столь прямолинейной классификации и распределению по четким рубрикам [там же, с. 16]. Более того, по мнению британского ученого, сравнение истории и культуры больших политических организмов, которое заканчивается серией резких противопоставлений, «вряд ли в должной мере учитывает сложность прошлого» [там же, с. XVI]. Поэтому, не видя смысла сводить все многообразие исторического опыта к простым формулам, Эллиотт отказался от любых попыток разложить «по полочкам» разные аспекты истории Британской и Испанской Америки с последующим перечислением их общих черт и различий. Вместо этого он постарался показать развитие двух великих цивилизаций Нового Света на протяжении трех столетий, постоянно сравнивая, противопоставляя и переплетая их истории в своем изложении, в надежде, что прояснение одной из них одновременно поможет понять и другую [там же, с. XVIII].

Сравнение в прослеживаемой Эллиоттом параллельной истории испанской и британской колонизаций играет профилирующую, индивидуализирующую роль. В образной форме ученый так сформулировал свое понимание компаративистики: «Действия

при написании сравнительной истории напоминают игру на аккордеоне. Два сравниваемых общества сталкиваются, но только для того, чтобы снова быть разведенными в разные стороны. Сходство, в конце концов, оказывается не настолько близким, как выглядит на первый взгляд; обнаруживаются различия, которые поначалу оставались незаметными» [там же, с. XVII].

В соответствии с этим кредо историк строит повествование на контрасте: в первой главе он создает своего рода «двойной портрет» руководителей экспедиций, Эрнана Кортеса (1519) и Кристофера Ньюпорта (1606), которые с интервалом в 87 лет положили начало соответственно испанской и британской колониальным империям. Оба были авантюристами, но разного склада. Один действовал по приказу испанского губернатора Кубы, другой находился на службе у частной компании — Виргинского акционерного общества. В дальнейшем ученый еще не раз прибегает к контрасту: медленным и случайным действиям англичан в направлении создания империи он противопоставляет скорость, с которой испанские владения в Америке были формально встроены в эффективную имперскую систему [там же, с. 119]. Если испанская колониальная администрация была подвергнута тщательному контролю мадридских чиновников, то английский губернатор в Америке не только мог не опасаться подобных проверок, но даже испытывал затруднения от отсутствия королевской бюрократии [там же, с. 138, 140]. По-разному происходило и освобождение бывших колоний: во-первых, Испанская Америка обрела независимость на 40–50 лет позднее, чем Британская, и под непосредственным влиянием Американской революции и образования США; а во-вторых, жестокость, проявленная во время войны за независимость в Северной Америке, не шла ни в какое сравнение с террором и гражданской войной, бушевавшими в Испанской Америке, особенно в Венесуэле [там же, с. 391, 392].

Главное достоинство работы Дж. Эллиотта состоит в тонкой нюансировке традиционных сюжетов колониальной истории — таких как мотивы и методы захвата новых земель, отношения колонизаторов с туземным населением, метрополия и колониальная администрация, формирование местных элит и т. д. Между тем новое поколение исследователей существенно расширило

«повестку дня» сравнительного изучения колониализма, обратив внимание на внутренние, незаметные на первый взгляд границы, разделявшие колониальные общества в повседневной жизни, в сфере гендерных и семейных отношений. Хорошее представление об этой проблематике дает статья Энн Л. Столер «Тесные и деликатные связи: политика сравнения в североамериканской истории и постколониальных исследованиях» (2001), обзор которой завершит данную главу.

Э. Л. Столер, в течение ряда лет изучавшая Голландскую Ост-Индию XIX в., подчеркнула роль детских учреждений (яслей, детских садов, интернатов) в воспроизводстве расовых и классовых границ. Эти учреждения призваны были «спасти» детей европейцев от опасного и вредного для их нравственности и здоровья влияния туземных нянек. Столер проводит параллель между этими опасениями колонизаторов и распространенными в тогдашней Европе и Америке педагогическими идеями, согласно которым дети из аристократических и буржуазных семей должны были быть ограждены от грубой заботы необразованных слуг: подобные идеи привели к появлению первых детских садов сначала в Германии и Англии в конце 1820-х гг., а затем и в Голландии (в 1850-х) [191, с. 850–852].

Другой характерный пример, который приводит американская исследовательница, — ремесленные училища для бедных сирот-детей от смешанных браков, созданные голландцами в остиндских колониях во второй половине XIX в., и аналогичные учреждения — интернаты для детей индейцев, — появившиеся тогда же в США. Оба педагогических эксперимента воодушевлялись идеей о том, что физический труд воспитает в этих несчастных детях — потенциальных правонарушителях — должные представления о нравственности и порядке [там же, с. 853–856]. Так в разных частях земного шара воспроизводился колониальный строй и поддерживались расовые различия.

## ИСТОРИЯ РОССИИ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Каким видится прошлое нашей страны на фоне истории других стран? Что нового в его изучение привносит сравнение? Какие методологические проблемы при этом возникают? Таков круг вопросов, которые я намерен рассмотреть в этой заключительной главе, опираясь на труды современных отечественных исследователей и зарубежных историков-русистов. Начну с более близкого к моим научным интересам допетровского периода российской истории.

Как было показано в первой части книги (см. ч. I, гл. 7), сравнительные исследования с большим трудом входили в практику отечественной историографии: в XIX в. этому препятствовали официально одобренные представления об «особом пути» России и культ национального государства, а в советские годы — догматически понятые марксистские идеи о единстве мирового исторического процесса. Но как только идеологические оковы спали и тезис об общности пути всех народов, проходящих в своем развитии одни и те же стадии (общественные формации) — от первобытного строя до коммунизма, — перестал восприниматься как аксиома, историкам России пришлось заново определять пространственно-временные координаты предмета своих занятий. Естественной реакцией многих отечественных ученых на наступивший в конце XX в. методологический и концептуальный хаос стал своего рода «неоисторизм», проявившийся в подчеркивании самобытности исторического пути России и недоверии к понятиям «западного» происхождения. «Феодализм», долгое время служивший концептуальной рамкой исследований, посвященных средневековой Руси, стал в 1990-х гг. одной из первых «жертв» упомянутого недоверия.

В вызвавшей большой резонанс монографии А. Л. Юрганова «Категории русской средневековой культуры» (1998) утверждалось, что понятие «феодализм» неприменимо к существовавшим на Руси отношениям власти и собственности [227, с. 171, 198, 440]. Примечательно, что, делая подобное заявление, историк не счел нужным вступать в полемику со своими предшественниками, придерживавшимися противоположной точки зрения. Не стал он и уточнять, что имеет в виду под феодализмом, ограничившись ссылкой на несколько работ зарубежных ученых: «Современная европейская наука уже определила свое отношение к феодализму, смогла описать его и дать необходимые определения», — утверждал А. Л. Юрганов [там же, с. 212, примеч. 133]. Интересно, что эта фраза была написана через несколько лет после выхода известной книги С. Рейнолдс «Фьефы и вассалы» (1994) и вызванной ею полемики, показавшей, что и в отношении западноевропейского феодализма ученым далеко не все ясно.

Впрочем, ревизия концепции русского феодализма была проведена Юргановым непоследовательно: отказавшись от самого понятия «феодализм», ученый не смог обойтись без терминов «вассалитет» и «министериалитет»; оба эти явления он находил в средневековой Руси (подданство-министериалитет в XV–XVI вв. пришло на смену вассальным договорным отношениям), как и «иммунитетную систему», не носившую, однако, по мнению автора, феодального характера [там же, с. 171, 220–223]. Таким образом, полностью отказаться от «терминологии западноевропейской (так! — М. К.) науки», изучающей, по выражению Юрганова, «“родной” феодализм» [там же, с. 198], и противопоставить ей свою, построенную исключительно на категориях отечественного происхождения, у исследователя не получилось. Кроме того, как справедливо отметил А. Я. Гуревич, определение русской культуры как средневековой в книге Юрганова недвусмысленно соотносило ее с той эпохой в истории Западной Европы, которую принято считать феодальной<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Гуревич А. Я. Из выступления на защите докторской диссертации А. Л. Юрганова // Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000. С. 295–296.

Инициированная А. Л. Юргановым дискуссия о категориях, в которых следует понимать древнерусское общество, лишней раз напоминает о том, что любая терминология, используемая исследователем (если только он не заимствует слова и понятия из источников изучаемой эпохи), по сути своей является сравнительной. Но поскольку историк не провел систематического сравнения русского и западноевропейского материала и ориентировался на некую усредненную модель феодализма, оспоренную к тому времени и отечественными (А. Я. Гуревич), и зарубежными (Э. Браун, С. Рейнолдс) медиевистами, то его концептуальные построения оказались весьма уязвимыми для критики.

На мой взгляд, стоит прислушаться к приведенным выше (см. ч. III, гл. 3) словам Сьюзан Рейнолдс, полагающей, что абстрактная модель феодализма больше не может служить основой сравнения средневековых обществ, и рекомендующей сопоставлять отдельные стороны их жизни [180, с. 215–216]. Удачным примером такого рода компаративистского исследования можно считать недавнюю статью В. Д. Назарова, в которой ученый поставил вопрос о том, почему на Руси не сформировалось рыцарство западноевропейского типа.

Прежде всего историк определил по ряду критериев (функции, статус, права и обязанности, система ценностей и нормы поведения) социальную группу русского средневекового общества, которая может быть сопоставлена с рыцарством: это служилое боярство XIV–XV вв., профессиональные конные воины, находившиеся в договорных отношениях с князьями. По вооружению они вполне сравнимы с западноевропейскими рыцарями, и, подобно этим последним, им так же были знакомы понятия чести и верности [209, с. 118–123]. Тем не менее к концу XV в. в связи с формированием единой монархии и существенными изменениями в структуре элиты дальнейшая эволюция служилого боярства в направлении рыцарства западноевропейского типа стала невозможной. Историк называет и другие факторы, помешавшие реализации этой тенденции: 1) ограниченные материальные возможности Руси по содержанию тяжеловооруженных конных воинов; 2) отсутствие майората в средневековой России, что вело к нарастающему дроблению родовых вотчин и служебной дегра-

дации воинов-профессионалов; 3) отсутствие таких военно-религиозных кампаний, как крестовые походы [там же, с. 125]. Очень убедительно звучит итоговый вывод статьи, который можно считать общей, интегральной причиной того, что в России так и не появилось рыцарство: «Россия, по-видимому, слишком быстро “пробежала” дистанцию от ранних стадий средневекового общества <...> к эпохе единой национальной монархии. В результате промежуточные этапы и характерные для них социальные явления оказались “смазанными”» [там же, с. 126].

Еще Марк Блок указывал на такую функцию сравнения, как выявление «токов заимствований, связующих средневековые общества» [32, с. 71]. Однако это очень непростая задача, и история средневековой Руси дает тому немало примеров. Если влияние Византии на религиозную и культурную жизнь древнерусского общества едва ли может быть оспорено, то с наследием монголов (Золотой Орды) дело обстоит иначе.

Тезис об определяющем влиянии монголов на формирование российской государственности был выдвинут в 1920-х гг. в эмиграции учеными-«евразийцами»: Н. С. Трубецким, Г. В. Вернадским и др. (ряд их статей переизд. в сб.: Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М., 1993). Подобные утверждения (с разными оценками последствий этого влияния — от негативной до вполне позитивной) можно встретить и в работах современных отечественных исследователей (см., например: [218; 227, с. 155–162, 165]), но наиболее развернутое обоснование упомянутой концепции содержится в трудах американских историков Ярослава Пеленски и Дональда Островски.

Названные ученые, прочем, разошлись в определении эпохи, когда произошли решающие институциональные заимствования. Д. Островски полагает, что это случилось в XIV в., когда князья подолгу бывали в Орде, а следовательно, прекрасно знали тамошние порядки и *могли* перенести их на русскую почву. Историк отдает себе отчет в том, что дошедшие до нас источники XIV в. очень скудны, и поэтому предупреждает читателя, что многое в его построениях «основано на предположении, умозаключении и в некоторой степени — на догадке» [232, с. 526]. Тем не менее он усматривает «глубокое сходство» между ордынскими

и московскими структурами управления: позиции дворского при великокняжеском дворе, по мнению Островски, соответствовал *визирь* при дворе сарайского хана, московскому тысяцкому — *беклярбек*, стоявший во главе армии и руководивший дипломатией, а боярам, входившим в думу при великом князе, историк находит соответствие в виде *карачи-беев*, заседавших в ханском совете [там же, с. 530–533].

Умозрительный характер этой гипотезы, никак не подкрепленной прямыми свидетельствами источников, очевиден. Но она еще сильно модернизирует и усложняет политическую систему Московского великого княжества XIV в., добавляя ему черты позднейшего приказного строя. Недопустимая модернизация заметна и в исходной посылке всей концепции — в предположении, будто московский князь той поры, словно Петр Великий через три с лишним столетия, мог *сознательно* вводить у себя органы управления, виденные им при дворе другого правителя. Примеры такого рода неизвестны для столь ранней эпохи.

Ярослав Пеленски предположил, что перестройка московских социальных и политических институтов по «монголо-тюркской модели» произошла в XVI в., при Иване Грозном [233, с. 159]. При этом он считал, что образцом для земского собора в первую очередь послужил монгольский *курултай* (вероятно, в его казанском варианте), а для московского поместья — казанский же *союргал* [там же, с. 162, 163]. Оба предположения столь же бездоказательны и произвольны, как и приведенная выше гипотеза Д. Островски. Напомню, что поместная система в Московском государстве начала складываться еще в 80-е гг. XV в., задолго до покорения Казани. Что же касается земских соборов, то их возникновение явилось составной частью процесса формирования в России государства Нового времени (см. ниже). Как видно на этом примере, без систематического изучения сравниваемых обществ любые параллели и аналогии не могут иметь серьезного научного значения.

Некоторые ученые сравнивают поместье с существовавшим в Византии институтом *пронойи* (букв. «попечительство»); она же, возможно, послужила прототипом другого условного держания — *тимара* в Османской империи [222]. Можно предположить, что

турки-османы, завоевав Византию, сохранили и затем трансформировали некоторые аграрные структуры покоренной страны, но механизм переноса *пронойи* в далекую Московию трудно себе представить.

Не выдерживает проверки и высказанное еще в XIX в. предположение о том, что русская налоговая система вела свое происхождение от татарских переписей середины XIII столетия. Как убедительно показал недавно М. Ю. Зенченко, монгольский *копчур* («число» в русских летописях), т. е. дань с переписанного по головам населения покоренных городов, не имел ничего общего с возникшей только во второй половине XV в. на Руси системой земельных описаний и налогообложения на основе писцовых книг [194].

Таким образом, по общему правилу о заимствовании того или иного института можно уверенно говорить только в том случае, когда имеющиеся данные позволяют определить время и источник трансфера, а также его механизм. На материале отечественной истории это возможно с начала XVII в.: в частности, исследователями подробно изучено заимствование западноевропейских образцов вооружения и тактики в русской армии в 1609–1610, 1632–1634 и последующие годы [204, с. 231–247]. Хорошо известно также, какое влияние оказало иностранное (особенно — шведское) законодательство на проведение административной и судебной реформ Петра I [214].

Но дефицит источников — не единственная проблема, с которой сталкиваются исследователи средневековой Руси при попытке применить сравнительный метод к ее изучению. Не меньшие затруднения вызывает выбор пространственно-временных рамок сравнения и его типа — синхронного или диахронного. С учетом крайней неравномерности развития средневековых обществ целесообразно проводить синхронизацию не по векам, а по стадиям изучаемых процессов. Но даже ученые, придерживающиеся синхростадиального подхода, не могут прийти к единому мнению относительно того, с какой страной и какого времени уместно сравнивать Московскую Русь. Так, С. М. Каштанову Русское государство XIV–XVI вв. по типу социальных отношений напоминает Франкское государство VII–IX вв. [196], а Б. Н. Флоря

обнаруживает исторические параллели тому же периоду отечественной истории в другом регионе и иной эпохе: странах Центральной Европы XI–XIII вв. [220, 221]. Между тем американская исследовательница Валери Кивельсон считает Московскую Русь типичным государством раннего Нового времени [229, с. 636, 641, 663]. К сходному выводу еще до знакомства с ее работой пришел и я [201].

Можно ли примирить между собой столь различные оценки? И с кем следует сравнивать Ивана III: с правителем франков Карлом Мартеллом (VIII в.), как полагает С. М. Каштанов [197], или с современником московского государя — французским королем Людовиком XI?

Здесь уместно напомнить сделанный во второй части этой книги вывод о бесперспективности холистского подхода в компаративистике (см. ч. II, гл. 4): сравнению подлежат не общества или государства целиком, а те процессы, которые *в них* происходят. Исторические параллели, проведенные С. М. Каштановым и Б. Н. Флорей, высвечивают архаичные пласты, действительно сохранявшиеся в хозяйственной и социальной жизни Московской Руси XIV–XV вв. и даже XVI в. Но на этой архаичной социально-экономической основе возникло государство вполне раннемодерного типа, которое обнаруживает немало общих черт с государствами Западной и Центральной Европы периода позднего Средневековья и начала Нового времени.

Среди этих черт, которые Московия разделяла со многими другими государствами той поры, Кивельсон отмечает бюрократизацию, рост административного аппарата, а также умение центральной власти договариваться с местными элитами, включая активное использование сетей патроната и клиенты [229, с. 636, 641, 660]. Исследовательница полагает, что «публичный фасад» Московии сильно отличался от других европейских монархий раннего Нового времени, поскольку там не существовало ничего похожего на язык прав и конституций, парламентов и иных законодательных учреждений, язык, понятный во многих странах от Англии до Польши. Тем не менее, продолжает Кивельсон, Московское царство и наследовавшая ему Российская империя покоились на знакомом раннемодерном фундаменте, состоявшем

из трех элементов: религиозной идеологии, бюрократии и насилия [там же, с. 663].

Соглашаясь в целом с этими наблюдениями ученого, хотел бы все же внести в них одну поправку: уже в русских источниках начала XVI в. можно заметить зарождение идеи общего блага<sup>2</sup>, тесно связанной с последующим возникновением земских соборов, в недолгой деятельности которых проступают черты несомненного «фамильного сходства» с их более удачливыми «родственниками» — европейскими парламентами. Таким образом, даже идеологический «фасад» Московского царства не столь уж отличен от современных ему монархий, как может показаться на первый взгляд.

К перечисленным Кивельсон чертам раннемодерного государства можно добавить еще один его атрибут, которому американская исследовательница посвятила специальную монографию: речь идет о составлении карт. По словам Кивельсон, картография «являлась как инструментом, так и результатом более широкого процесса формирования государства и национальной интеграции» [198, с. 35]. И тот факт, что картография, остававшаяся редким явлением в Средние века, получила широкое распространение в России XVII столетия, косвенно указывает на исторический «возраст» страны, ее вступление в раннее Новое время.

О том же свидетельствует институт патроната, т. е. неформального покровительства, бурное развитие которого повсюду в Европе пришлось на XVI–XVII вв. Язык и функции патроната в допетровской России обнаруживают удивительное сходство с аналогичными явлениями в других странах того времени (подробнее см.: [231]).

Остается добавить, что проблематика раннемодерного государства, картография и патронат — все это новые темы в истории России, и обращение к ним исследователей служит ярким при-

---

<sup>2</sup> Подробнее см.: *Кром М. М.* «Дело государево и земское»: Понятие общего блага в политическом дискурсе России XVI в. // *Сословия, институты и государственная власть в России (Средние века и раннее Новое время): Сборник статей памяти академика Л. В. Черепнина.* М., 2010. С. 581–585.

мером переноса научного знания, демонстрацией эвристических возможностей сравнительного метода.

Специалисты по Новому и новейшему времени, в отличие от медиевистов, предпочитают синхронный тип сравнения, зато эти сравнения очень разнообразны и в географическом, и в тематическом плане: Российская империя сопоставляется со своими соперниками — Британской, Османской, Австро-Венгерской империями [206, 187, 190], русское крепостничество — с американским рабством [176], революция 1917 г. — с Великой французской и китайской революциями [126, 158]. Примеры подобных работ приведены в предыдущих главах этой книги.

До недавнего времени все сравнения царской России со странами Запада оказывались не в ее пользу: принято было подчеркивать экономическую отсталость империи Романовых, существовавшие там бесправие и произвол. В современной литературе, напротив, заметна тенденция к «нормализации» российского прошлого. В отечественной историографии эта тенденция ярче всего проявилась в фундаментальном труде Б. Н. Миронова «Социальная история России (XVIII — начало XX в.)» (1999). По словам автора, «основные итоги социального развития России в период империи свидетельствуют о том, что в социальном, культурном и политическом отношениях Россия в принципе изменялась в тех же направлениях, что и другие европейские страны» [208, т. 2, с. 291]. Отметил историк и существенные отличия: если западноевропейские общества постепенно консолидировались, то российское, напротив, в течение XVIII–XIX вв. все сильнее фрагментировалось, а социальные изменения в России происходили асинхронно с изменениями в других странах [там же, с. 291, 295 и след.]. Тем не менее Миронов считает развитие страны в имперский период в целом прогрессивным и отмечает успехи как в политической сфере (превращение России из абсолютной монархии сначала в правомерную во второй четверти XIX в., а затем — в конституционную в 1906 — феврале 1917 г.), так и в социальной (получение людьми личных и гражданских прав, автономизация семьи, генезис гражданского общества и т. д.) [там же, с. 284–289].

В ходе дискуссии, вызванной появлением книги Миронова, прозвучали разные оценки его труда — от восторженных до резко

критических<sup>3</sup>. Воздавая должное эрудиции исследователя, оригинальности замысла работы и богатству конкретных наблюдений, участники обсуждения обратили внимание и на свойственные концепции Миронова противоречия, ее несомненный европоцентризм, а также определенную тенденциозность автора, который на некоторых страницах книги предстает адвокатом имперской политики.

С точки зрения методики сравнительного анализа важно отметить, что неизменной «парой» для сравнения России в монографии Миронова выступает некий абстрактный Запад, но каким образом была построена эта идеальная модель, в книге не разъясняется; отдельные примеры, заимствованные из истории разных европейских стран, лишь иллюстрируют авторскую мысль. Неудивительно, что на таком абстрактном уровне сравнение не работает, и итоговый вывод Миронова поражает своей банальностью: «...Россия развивалась по тем же направлениям, что и Запад, только с опозданием» [там же, с. 299]. Возможно, кому-то этот вывод о европейском пути России добавит оптимизма (сеанс «клиотерапии»!), а образ юной и незрелой страны, идущей по проторенной более передовыми нациями дороге, вызовет умиление. Но в конкретно-историческом плане подобные сентенции, к которым автор пытается свести богатое содержание своей книги, мало что прибавляют к нашим знаниям о Российской империи.

«Нормализация» исторического опыта России наблюдается и в зарубежной русистике. Так, в упомянутой выше замечательной книге Валери Кивельсон «Картографии царства: Земля и ее значения в России XVII века» (2006, рус. пер. — 2012) обращается особое внимание на то, что на русских чертежах, сохранившихся в судебных делах о спорных землях, показаны избы крестьян, в то время как на планах рабовладельческих плантаций в Новом

---

<sup>3</sup> См., в частности, материалы круглого стола: Российский старый порядок: опыт исторического синтеза // Отечественная история. 2000. № 6. С. 43–93, а также рецензии, опубликованные в альманахе «Одиссей»: Одиссей. Человек в истории. 2004. М., 2004. С. 378–421. В тех же изданиях появились затем ответы Б. Н. Миронова своим оппонентам, см.: Отечественная история. 2001. № 2. С. 106–116; Одиссей. Человек в истории. 2006. М., 2006. С. 420–443.

Свете хижины рабов чаще всего отсутствуют. Исследовательница убедительно объясняет этот факт, указывая на различие в положении крестьян и рабов, соответственно, в русском и американском обществе XVII в.: первые были интегрированы в окружающий социум, их показания, в частности, имели решающее значение для выигрыша земельной тяжбы помещиком или монастырем; вторые рассматривались лишь как имущество рабовладельца и не занимали (в буквальном и символическом смысле) никакого места в обществе [198, с. 130–136].

Сходным образом, анализируя картографический материал, Кивельсон сравнивает и колониальную политику Московии и западноевропейских держав. Если на английских и испанских картах Нового Света индейцы изображались лишь в качестве красочных виньеток, не занимая никакого места на колонизованных землях, на которые у них — по понятиям колонизаторов — не было права претендовать, то на русских картах Сибири XVII — начала XVIII вв. показаны места расселения ее коренных народов и сохранены местные названия: таким путем туземное население интегрировалось в строящуюся Российскую империю [там же, с. 233–248].

Возможно, кто-то из специалистов сочтет, что Кивельсон рисует русское крепостничество и колониальную политику Москвы XVII в. в излишне розовом свете, но нельзя не признать мастерство проведенного исследовательницей сопоставительного анализа.

Трудно не заметить, что сравнительная перспектива, в которой рассматривается история России, в немалой степени зависит от меняющегося со временем положения нашей страны в мире и ее текущей политики. Если в 70-х гг. XX в., в разгар холодной войны, доминирующим был тезис об изначальной и неизменной противоположности Руси — России — Советского Союза и свободного западного мира (достаточно вспомнить книгу Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме», 1974), то для историографической ситуации 2000-х гг. вполне характерен изданный под редакцией Сьюзан Маккэфрей и Майкла Мелансона сборник «Россия в европейском контексте 1789–1914: член семьи» (2005), в котором индустриализация, предпринимательство, фабричное законодательство, уголовное право и другие темы и проблемы дореволю-

ционной истории России рассматриваются на широком общеевропейском фоне [234].

Столь же прочное место Россия занимает теперь в истории мировых империй, причем сравнительная перспектива позволяет увидеть в империи Романовых сложное, противоречивое переплетение различных элементов, делающее ее похожей сразу на несколько других держав: «Российская империя была гибридом, — замечает Доминик Ливен. — В ней сочетались черты европейских морских империй и особенности автократической материковой империи, уходящие корнями в античность. Россия продолжала традиции европейской экспансии вовне, оставаясь периферийным и отсталым в экономическом и политическом отношении государством, больше похожим на некоторые британские небелые колонии, чем на саму Британию» [206, с. 643].

Внутренняя неоднородность огромной Российской империи представляет немалые сложности для сравнительного анализа, что хорошо понимают некоторые современные компаративисты. Так, Блэр Рубл во введении к книге о «прагматическом плюрализме» в Чикаго, Москве и Осаке эпохи промышленного бума признает, что основная трудность понимания России начала XX в. — как и начала XXI в. — состоит в том, что «не было и нет единой российской реальности». Одновременно сосуществовали разные России: богатые и бедные, космополитические и провинциальные, рыночные и феодальные. Большинство населения страны проживало в деревнях, но несколько миллионов россиян проживало в двух из крупнейших городов мира. «Никакое единственное объяснение, — справедливо заключает историк, — не может передать того, что случилось со всеми этими Россиями» [185, с. 1].

Приведенные выше наблюдения позволяют сделать вывод о том, что такое сложное общество, как Россия, с присущими ей внутренними экономическими, социальными, политическими, этническими и религиозными различиями, едва ли можно рассматривать как целостную единицу сравнительного анализа. Да и вопрос о том, является ли Россия действительно европейской страной, принадлежит ли она «Востоку» или «Западу», на мой взгляд, уже потерял свою актуальность для исторической компаративистики: на непродуктивность подобных вопросов еще в на-

---

чале 2000-х гг. справедливо указала Валери Кивельсон. Взамен исследовательница предложила другую, более увлекательную задачу — изучить способы, которыми разные общества решали общие для них проблемы [230, с. 495].

Так в сравнительном изучении российской истории происходят постепенное обновление «повестки дня» и смена исследовательских подходов.

## Заключение

---

Я начал эту книгу с перечисления некоторых парадоксов исторической компаративистики, главный из которых заключается в том, что, хотя сравнение в истории известно со времен Геродота, его статус и по сей день остается неясным: многие современные ученые не признают наличия у компаративистики особого метода, предпочитая говорить о некоем подходе, сравнительной перспективе или даже «сравнительном воображении». Я, однако, не разделяю этого скепсиса: анализ теории и практики сравнительно-исторических исследований привел меня к выводу (насколько он убедителен, судить, разумеется, читателям) о том, что методология компаративного анализа вполне может быть разработана; более того, начало ее разработке уже положено.

К настоящему времени в достаточной мере выяснены эвристические и аналитические возможности (функции) исторического сравнения, предложено несколько его типологий, исходя из логики (индивидуализация или обобщение) или выбора сопоставляемых объектов (параллельное, кросс-культурное, асимметричное сравнения и т. д.). Постепенно формируется специальная терминология.

Предвижу, что некоторые читатели книги сочтут отмеченные успехи в разработке методики исторического сравнения явно недостаточными: действительно, существующие рекомендации охватывают далеко не все виды сравнительных исследований; многие трудности, возможные ошибки и «подводные камни» еще не описаны, и будущим компаративистам придется преодолевать их на свой страх и риск. Отчасти это объясняется тем, что рефлексия по поводу приемов сравнительного анализа в истории возникла относительно недавно: в то время как источниковедение успешно разрабатывается уже в течение трех с лишним столетий, *систе-*

*матическое* историческое сравнение, если мы возьмем за точку отсчета программную статью М. Блока (1928), существует лишь чуть более 80 лет.

Кроме того, не стоит преувеличивать возможности теории в применении исторических методов: в отличие от статистики, ни один качественный (не количественный) метод не может быть выражен в виде формул; все «правила» носят в данном случае характер рекомендаций, основанных на успешном исследовательском опыте, и их применение требует творческого подхода. Однако, на мой взгляд, принципиально важно то, что, если обсуждаемая аналитическая процедура по своей природе является общенаучным методом (в чем у меня, повторяю, нет никаких сомнений), в этом случае обязательно проявится *кумулятивный эффект*: каждое следующее поколение исследователей будет вносить свою лепту в копилку методических правил, разработанных предшествующими учеными. Собственно говоря, именно это и происходит на наших глазах: в последнее время усилиями, главным образом, Х. Кэлбле, Ю. Кокки и Х.-Г. Хаупта теория исторической компаративистики значительно продвинулась вперед. Но монографических обобщающих работ по-прежнему мало: книга, которую держит в руках читатель, всего лишь вторая в этом ряду (первое подобное введение в компаративистику под названием «Историческое сравнение» опубликовал в 1999 г. Хартмут Кэлбле [29]).

Таким образом, на мой взгляд, есть основания для сдержанного оптимизма в отношении перспектив исторической компаративистики. Нередко звучащие жалобы на ее маргинальное положение в нашей профессии (см.: [40, с. 57; 46, с. 25; 49, с. 1, 15]) не согласуются с наблюдаемым сейчас по всему миру подъемом сравнительно-исторических исследований. Подобные жалобы, как мне представляется, исходят из ошибочной посылки, будто компаративистика, или, как ее часто называют, «сравнительная история», является или должна стать особым направлением (ср.: [70, с. 455, 466]), областью специализации либо, как предлагал Дж. Фредриксон, субдисциплиной внутри истории [57, с. 36]. Между тем при очень большом разнообразии современных тем и форм исторического сравнения нет никаких признаков выделения компаративистики в особое направление или дисциплину.

Вообще сравнение гораздо чаще встречается в исторических исследованиях, чем можно подумать, если судить по выдающимся примерам, приводимым в программных статьях мэтров сегодняшней компаративистики. Наряду с работами, в которых сравнение играет системообразующую роль, есть и такие, где оно применяется «точечно», при анализе отдельных аспектов избранной темы, как это блестяще продемонстрировала Валери Кивельсон в книге «Картографии царства», упомянутой в заключительной главе данного пособия.

В конце концов, как напоминает нам Реймонд Гру, «в самом широком смысле <...> сравнение неизбежно. Вопрос состоит не столько в том, должны ли историки сравнивать, — продолжает тот же исследователь, — сколько в том, выигрывает ли изучение истории, когда эти сравнения проводятся сознательно и порой даже систематически» [43, с. 769]. Подобно автору приведенной цитаты, я полагаю, что систематический, тщательно выверенный сравнительный анализ гораздо эффективнее случайных и непродуманных аналогий. Собственно говоря, именно вера в полезность методологической рефлексии и побудила меня написать эту книгу.

Помимо рефлексии над практикой сравнительных исследований, надежды на дальнейший прогресс исторической компаративистики связаны с более активным использованием опыта соседних дисциплин. Поскольку сравнительный метод является общенаучным, а граница между историей и социальными науками — весьма условной и подвижной, знакомство с приемами социологии, политологии, антропологии, давно и успешно применяющими сравнение в своей работе, будет, как я старался показать в данном пособии, небесполезным для историков-компаративистов.

Наконец, не стоит забывать об экспериментальной природе сравнения, подразумевающей новаторство и изобретательность в решении поставленных задач. Если на начальных этапах этого увлекательного научного поиска моя книга окажет посильную помощь молодым исследователям, заинтересовавшимся познавательными возможностями исторической компаративистики, я буду считать свою цель достигнутой.

### **Формы исторического сравнения от античности до середины XX в.**

1. *Боден Ж.* Метод легкого познания истории / пер. М. С. Бобковой. М., 2000.
2. *Вико Дж.* Основания новой науки об общей природе наций / пер. с итал. и коммент. А. А. Губера. М., Киев, 1994.
3. *Гердер И. Г.* Идеи к философии истории человечества / пер. и примеч. А. В. Михайлова. М., 1977.
4. *Геродот.* История в девяти книгах / пер. и примеч. Г. А. Стратановского. Л., 1972.
5. *История* в Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера / пер. и примеч. Н. В. Ревуненковой; отв. ред. А. Д. Люблинская. Л., 1978.
6. *Монтескье Ш.-Л.* О духе законов / сост., пер. и коммент. А. В. Матешук. М., 1999.
7. *Плутарх.* Сравнительные жизнеописания / подгот. С. С. Аверинцев, М. Л. Гаспаров, С. П. Маркиш. Изд. 2-е, испр. и доп.: в 2 т. М., 1994.
8. *Полибий.* Всеобщая история / пер. с греч. Ф. Г. Мищенко: в 3 т. СПб., 1994–1995.
9. *Ранке Л.* Об эпохах новой истории. Лекции, читанные баварскому королю Максимилиану в 1854 г. М., 1898.
10. *Тойнби А. Дж.* Постижение истории / пер. с англ.; сост. А. П. Огурцов. М., 1991.
11. *Шпенглер О.* Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории / пер. с нем.: в 2 т. М., 1993–1998.

### **Сравнение в истории: pro et contra (труды по философии и методологии истории)**

12. *Бернгейм Э.* Введение в историческую науку / пер. с нем. В. А. Вейнштока. Изд. 2-е. М., 2011.
13. *Блок М.* Апология истории, или Ремесло историка / пер. Е. М. Лысенко. Изд. 2-е, доп. М., 1986.

14. *Дройзен И. Г.* Историка / пер. с нем. Г. И. Федоровой. СПб., 2004.
15. *Коллингвуд Р. Дж.* Идея истории. Автобиография / пер. и коммент. Ю. А. Асеева. М., 1980.
16. *Ланглуа Ш.-В. и Сеньобос Ш.* Введение в изучение истории / пер. с фр. А. Серебряковой. Изд. 2-е / под ред. и со вступ. ст. Ю. И. Семенова. М., 2004.
17. *Про А.* Двенадцать уроков по истории / пер. с фр. Ю. В. Ткаченко. М., 2000.
18. *Риккерт Г.* Границы естественнонаучного образования понятий. Логическое введение в исторические науки / пер. А. Водена; отв. ред. Б. В. Марков. М., 1997.
19. *Риккерт Г.* Науки о природе и науки о культуре / пер. под ред. С. И. Гессена // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре / сост. М. М. Беляева, А. И. Полякова; ред. А. Ф. Зотов. М., 1998. С. 44–128.
20. *Трёлч Э.* Историзм и его проблемы / пер. с нем. М., 1994.
21. *Февр Л.* От Шпенглера к Тойнби // Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 72–96.
22. *Фриман Э.* Методы изучения истории / пер. с англ. П. Николаева. Изд 2-е. М., 2011.

**Сравнение в истории:  
тематические сборники, концептуальные труды**

23. *Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives* / ed. by Heinz-Gerhard Haupt and Jürgen Kocka. New York; Oxford, 2009.
24. *The Comparative Approach to American History* / ed. by C. Vann Woodward. 2d ed. Oxford University Press, USA: Cary, NC, 1997.
25. *Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective* / ed. by Deborah Cohen and Maura O'Connor. New York; London, 2004.
26. *Explorations in Comparative History* / ed. by Benjamin Z. Kedar. Jerusalem, 2009.
27. *Fredrickson G. M.* The Comparative Imagination: On the History of Racism, Nationalism, and Social Movements. Berkeley, Los Angeles, London, 2000.
28. *Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung* / Hg. von Heinz-Gerhard Haupt and Jürgen Kocka. Frankfurt am Main, 1996.

29. *Kaelble H.* Der historische Vergleich. Eine Einführung zum 19 und 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 1999.
30. *Marc Bloch* aujourd'hui: histoire comparée et sciences sociales / textes réunis et présentés par Hartmut Atsma et André Burguière. Paris, 1990.
31. *Osterhammel J.* Geschichtswissenschaft jenseits des Nationalstaates. Studien zur Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich. Göttingen, 2001.

**Сравнение в истории:  
программные и обзорные работы, статьи в энциклопедиях**

32. *Блок М.* К сравнительной истории европейских обществ // Одиссей. Человек в истории. 2001. М., 2001. С. 65–93.
33. *Оффенштадт Н., Мазюрель Э.* Компаративистика / Сравнительная история // Словарь историка / под ред. Н. Оффенштадта при участии Г. Дюфо и Э. Мазюреля; пер. с фр. Л. А. Пименовой. М., 2011. С. 77–80.
34. *Печуро Е. Э.* Сравнительно-исторический метод // Советская историческая энциклопедия. Т. 13. Славяноведение — Ся Чэн. М., 1971. Стб. 755–759.
35. *Эмар М.* История и компаративизм // Новая и новейшая история. 1999. № 5. С. 90–97.
36. *Baldwin P.* Comparing and Generalizing: Why All History Is Comparative, Yet No History Is Sociology // Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective / ed. by Deborah Cohen and Maura O'Connor. New York; London, 2004. P. 1–22.
37. *Berger S.* Comparative History // Writing History: Theory and Practice / ed. by Stefan Berger, Heiko Feldner and Kevin Passmore. 2<sup>nd</sup> ed. London; New York, 2010. P. 187–205.
38. *Bloch M.* Comparaison // Bulletin du Centre international de synthèse, section de synthèse historique. N 9 (Juin 1930). P. 31–39.
39. *Blue G. R.* Comparative History // A Global Encyclopedia of Historical Writing / ed. by D. R. Woolf. New York & London, 1998. Vol. I. P. 192–195.
40. *Cohen D.* Comparative History: Buyer Beware // Comparison and History. Europe in Cross-National Perspective / ed. by Deborah Cohen and Maura O'Connor. New York; London, 2004. P. 57–69.
41. *Comparative History in Theory and Practice: A Discussion* // The American Historical Review. Vol. 87. N 1 (February 1982). P. 123–143.

42. *Green N. L.* Forms of Comparison // Comparison and History. Europe in Cross-National Perspective / ed. by Deborah Cohen and Maura O'Connor. New York; London, 2004. P. 41–56.
43. *Grew R.* The Case for Comparing Histories // The American Historical Review. Vol. 85. N 4 (October 1980). P. 763–778.
44. *Haupt H.-G.* Comparative History // International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences / Editors-in-Chief Neil J. Smelser and Paul B. Baltes. Amsterdam and New York, 2001. Vol. 4. P. 2397–2403.
45. *Haupt H.-G., Kocka J.* Historischer Vergleich: Methoden, Aufgaben, Probleme. Eine Einleitung // Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung / Hg. von Heinz-Gerhard Haupt und Jürgen Kocka. Frankfurt am Main, 1996. S. 9–45.
46. *Haupt H.-G., Kocka J.* Comparative History: Methods, Aims, Problems // Comparison and History. Europe in Cross-National Perspective / ed. by Deborah Cohen and Maura O'Connor. Routledge: New York; London, 2004. P. 23–37.
47. *Kaelble H.* Vergleich, historische // Lexikon Geschichtswissenschaft: hundert Grundbegriffe / Hg. von Stefan Jordan. Stuttgart, 2002. S. 303–306.
48. *Kedar B.Z.* Outlines for Comparative History Proposed by Practicing Historians // Explorations in Comparative History / ed. by Benjamin Z. Kedar. Jerusalem, 2009. P. 1–28.
49. *Kocka J., Haupt H.-G.* Comparison and Beyond: Traditions, Scope, and Perspectives of Comparative History // Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives / ed. by Heinz-Gerhard Haupt and Jürgen Kocka. New York; Oxford, 2009. P. 1–30.
50. *Langlois C. V.* The Comparative History of England and France during the Middle Ages // The English Historical Review. Vol. 5. N 18 (April 1890). P. 259–263.
51. *Miller M.* Comparative and Cross-National History: Approaches, Differences, Problems // Comparison and History. Europe in Cross-National Perspective / ed. by Deborah Cohen and Maura O'Connor. New York; London, 2004. P. 115–132.
52. *Thrupp S. L.* Editorial // Comparative Studies in Society and History. Vol. 1. N 1 (October 1958). P. 1–4.
53. *Welskopp T.* Stolpersteine auf dem Königsweg: Methodenkritische Anmerkungen zum internationalen Vergleich in der Gesellschaftsgeschichte // Archiv für Sozialgeschichte. Bd. 35 (1995). S. 339–367.

**Развитие сравнительно-исторических исследований во второй половине XX в. (обзоры по странам)**

54. *Джемелли Дж.* Компаративистика и всеобщая история у Марка Блока и Фернана Броделя // Споры о главном: Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Анналов». М., 1993. С. 145–149.
55. *Crossick G.* And what should they know of England? Die vergleichende Geschichtsschreibung im heutigen Großbritannien // Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung / Hg. von Heinz-Gerhard Haupt and Jürgen Kocka. Frankfurt am Main, 1996. S. 61–75.
56. *Degler C. N.* Comparative History: An Essay Review // The Journal of Southern History. Vol. 34. N 3 (August 1968). P. 425–430.
57. *Fredrickson G. M.* The Status of Comparative History (1980) // Fredrickson G. M. The Comparative Imagination: On the History of Racism, Nationalism, and Social Movements. Berkeley, Los Angeles, London, 2000. Chap. 1. P. 23–36.
58. *Fredrickson G. M.* From Exceptionalism to Variability: Recent Developments in Cross-National Comparative History // The Journal of American History. Vol. 82. N 2 (September, 1995). P. 587–604. Переизд.: [27], chap. 3. P. 47–65.
59. *Guarneri C. J.* Reconsidering C. Vann Woodward's The Comparative Approach to American History // Reviews in American History. Vol. 23. N 3 (September 1995). P. 552–563.
60. *Grew R.* The Comparative Weakness of American History // The Journal of Interdisciplinary History. Vol. 16. N 1 (Summer 1985). P. 87–101.
61. *Haupt H.-G.* Eine schwierige Öffnung nach außen: Die international vergleichende Geschichtswissenschaft in Frankreich // Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung / Hg. von Heinz-Gerhard Haupt and Jürgen Kocka. Frankfurt am Main, 1996. S. 77–90.
62. *Kocka J.* German History before Hitler: The Debate about the German *Sonderweg* // Journal of Contemporary History. Vol. 23. N 1 (January 1988). P. 3–16.
63. *Kocka J.* Comparative Historical Research: German Examples // International Review of Social History. Vol. 38 (1993). P. 369–379.
64. *Kocka J.* Historische Komparatistik in Deutschland // Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender Ge-

- schichtsschreibung / Hg. von Heinz-Gerhard Haupt and Jürgen Kocka. Frankfurt am Main, 1996. S. 47–60.
65. *Kolchin P.* Comparing American History // *Reviews in American History*. Vol. 10. N 4 (December 1982). P. 64–81.
66. *Salvati M.* Histoire contemporaine et analyse comparative en Italie // *Genèses*. Vol. 22 (1996). P. 146–159.

### **Сравнительный метод в истории: главы в учебниках и монографиях**

67. *Бочаров А. В.* Сравнительно-исторический метод // Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. Томск, 2006. С. 58–69.
68. *Кареев Н. И.* Сравнительно-исторический метод // Кареев Н. И. Теория исторического знания. Изд. 2-е. М., 2010. С. 187–203.
69. *Ковальченко И. Д.* Историко-сравнительный метод // Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. Изд. 2-е, доп. М., 2003. С. 186–190.
70. *Мазур Л. Н.* Историко-сравнительный метод // Мазур Л. Н. Методы исторического исследования. Екатеринбург, 2010. С. 455–476.
71. *Румянцева М. Ф.* Сравнительно-историческое исследование: проблемы метода // Румянцева М. Ф. Теория истории. Учебное пособие. М., 2002. С. 189–317.
72. *Смоленский Н. И.* Сравнительно-исторический метод // Смоленский Н. И. Теория и методология истории. Изд. 3-е, стер. М., 2010. С. 231–236.
73. *Burke P.* Models and Methods // *Burke P. History and Social Theory*. Cambridge, 1992. Chap. 2. P. 22–43 (о сравнении — p. 22–28).

### **Споры о методе: логика сравнения в истории**

74. *Кром М. М.* Сравнение в истории и исторической социологии: общность метода и различие дисциплинарных подходов // «Стены и мосты» — II: междисциплинарные и полидисциплинарные исследования в истории: материалы междунар. науч. конф., Москва, РГГУ, 12–13 июня 2013 г. / отв. ред. Г. Г. Ершова. М., 2014. С. 30–45.
75. *Любарский Г. Ю.* Морфология истории: сравнительный метод и историческое развитие. М., 2000.
76. *Мелконян Э. Л.* Проблемы сравнительного метода в историческом знании. Ереван, 1981.

77. *Шидер Т.* Возможности и границы сравнительных методов в исторической науке // *Философия и методология истории.* М., 1977. С. 143–167.
78. *Braembussche A. A., van den.* Historical Explanation and Comparative Method: Towards a Theory of the History of Society // *History and Theory.* Vol. 28. N 1 (February 1989). P. 1–24.
79. *Davillé L.* La comparaison et la methode comparative, en particulier dans les études historiques // *Revue de synthèse historique.* 1913. T. 27. N 1. P. 4–33; N 3. P. 217–257; 1914. T. 28. N 2. P. 201–229.
80. *Detienne M.* Comparer l'incomparable. Paris, 2000.
81. *Hill A. O., Hill B. H.* Marc Bloch and Comparative History // *The American Historical Review.* Vol. 85. N 4 (October 1980). P. 828–846.
82. *Kocka J.* Asymmetrical Historical Comparison: The Case of the German *Sonderweg* // *History and Theory.* Vol. 38. N 1 (February 1999). P. 40–50.
83. *Kocka J.* Comparison and Beyond // *History and Theory.* Vol. 42 (February 2003). P. 39–44.
84. *Sewell W. H., Jr.* Marc Bloch and the Logic of Comparative History // *History and Theory.* Vol. 6. N 2 (1967). P. 208–218.
85. *Sewell W. H., Thrupp S. L.* Comments // *The American Historical Review.* Vol. 85. N 4 (October 1980). P. 847–853 (комментарии к статье А. Хилл и Б. Хилла, см. выше № 81).
86. *Walker L. D.* A Note on Historical Linguistics and Marc Bloch's Comparative Method // *History and Theory.* Vol. 19. N 2 (February 1980). P. 154–164.

### **История трансферов, «перекрестная» и транснациональная история в их отношении к исторической компаративистике**

87. *Вернер М., Циммерманн Б.* После компаратива: *Histoire Croisée* и вызов рефлексивности // *Ab imperio.* 2007. № 2. С. 59–90.
88. AHR Conversation: On Transnational History // *The American Historical Review.* Vol. 111. N 5 (December 2006). P. 1441–1464.
89. *Bayly C. A.* The Birth of the Modern World, 1780–1914: Global Connections and Comparisons. Malden, MA; Oxford, 2004.
90. *Das Kaiserreich* transnational: Deutschland in der Welt 1871–1914 / Hg. von Sebastian Conrad und Jürgen Osterhammel. Göttingen, 2004.
91. *De comparaison à l'histoire croisée* / sous la dir. de Michael Werner et Bénédicte Zimmermann. Paris, 2004.

92. *Espagne M.* Sur les limites du comparatisme en histoire culturelle // *Genèses*. Vol. 17 (1994). P. 112–121.
93. *Iriye A.* Transnational History // *Contemporary European History*. Vol. 13. N 2 (May 2004). P. 211–222.
94. *Kaelble H.* Between Comparison and Transfers — and What Now? A French-German Debate // *Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives* / ed. by Heinz-Gerhard Haupt and Jürgen Kocka. New York; Oxford, 2009. P. 33–38.
95. *Le travail et la nation*. Histoire croisée de la France et de l'Allemagne / sous la dir. de Bénédicte Zimmermann, Claude Didry et Peter Wagner. Paris, 1999.
96. *Paulmann J.* Internationaler Vergleich und interkultureller Transfer // *Historische Zeitschrift*. Bd. 267. H. 3 (1998). S. 649–685.
97. *Randeria S.* Entangled Histories of Uneven Modernities: Civil Society, Caste Councils, and Legal Pluralism in Post-Colonial India // *Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives* / ed. by Heinz-Gerhard Haupt and Jürgen Kocka. New York; Oxford, 2009. P. 77–104.
98. *Tyrrell I.* American Exceptionalism in an Age of International History // *The American Historical Review*. Vol. 96. N 4 (October 1991). P. 1031–1055. Ответ Тиррелла на критику по поводу его статьи (“Ian Tirrell Responds”) см. в том же номере журнала: *Ibid.* P. 1068–1072.

### Сравнительный метод в социальных науках

99. *Боас Ф.* Границы сравнительного метода в антропологии // *Антология исследований культуры*. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб., 1997. С. 509–518.
100. *Вебер М.* «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // *Вебер М. Избранные произведения* / пер. с нем. М., 1990. С. 345–415.
101. *Дюркгейм Э.* Метод социологии // *Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии* / пер. с фр. А. Б. Гофмана. М., 1991. С. 391–527.
102. *Ковалевский М. М.* Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права. М., 1880.
103. *Компаративистика*. Альманах сравнительных социогуманитарных исследований / под ред. Л. А. Вербицкой и др. СПб., 2001–2003.
104. *Мейе А.* Сравнительный метод в историческом языкознании / пер.

- с фр. А. В. Дилигенской; под ред. Б. В. Горнунга и М. Н. Петерсона. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2004.
105. *Милль Дж. Ст.* Система логики силлогистической и индуктивной. Изложение принципов доказательства в связи с методами научного исследования / пер. с англ. под ред. В. Н. Ивановского. Изд. 5-е. М., 2011.
106. *Мэйи Г.* Древнее право: Его связь с древней историей общества и его отношение к новейшим идеям / пер. с англ. Н. А. Белозерской. Изд. 2-е. М., 2011.
107. *Сергеевич В. И.* Государство и право в истории // Сборник государственных знаний / под ред. В. П. Безобразова. СПб., 1879. С. 19–96 (см. раздел II: «Сравнительная метода», с. 42–50).
108. *Тайлор Э. Б.* Первобытная культура / пер. с англ. Д. А. Коропчевского. М., 1989.
109. *Топоров В. Н.* Сравнительно-историческое языкознание // Лингвистический словарь. М., 1990. С. 486–490.
110. *Фриман Э.* Сравнительная политика (шесть лекций, читанных в Королевском институте в январе и феврале 1873 года) и Единство истории (лекция, читанная в Кембриджском университете 29 мая 1873 года) / пер. с англ. Н. Коркунова. СПб., 1880.
111. *Эванс-Причард Э.* История антропологической мысли / пер. с англ. А. Л. Елфимова. М., 2003.
112. *Эванс-Причард Э.* Сравнительный метод в социальной антропологии // Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб., 1997. С. 654–680.
113. *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences* / ed. by James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer. Cambridge; New York, 2003.
114. *Comparative Methods in the Social Sciences* / ed. by Alan Sica. London; Thousand Oaks; New Delhi, 2006. 4 vols.
115. *Goldthorpe J. H.* Current Issues in Comparative Macrosociology: A Debate on Methodological Issues // *Comparative Methods in the Social Sciences* / ed. by Alan Sica. London: Sage Publications, 2006. Vol. I. P. 390–429.
116. *Mahoney J.* Knowledge Accumulation in Comparative Research: The Case of Democracy and Authoritarianism // *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences* / ed. by James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer. Cambridge; New York, 2003. P. 131–174.
117. *Ragin C.* The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. Berkeley; Los Angeles; London, 1987.

**Сравнение в исторической социологии**

118. Вебер М. Предварительные замечания // Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем. М., 1990. С. 44–60.
119. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем. М., 1990. С. 61–272.
120. Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг. / пер. с англ. Т. Б. Менской. М., 2009.
121. Bendix R. Kings or People: Power and the Mandate to Rule. Berkeley; Los Angeles; London, 1978.
122. Bonnell V. The Uses of Theory, Concepts and Comparison in Historical Sociology // Comparative Studies in Society and History. Vol. 22. N 2 (April 1980). P. 156–173.
123. Burawoy M. Two Methods in Search of Science: Skocpol versus Trotsky // Theory and Society. Vol. 18. N 6 (November 1989). P. 759–805.
124. Goldstone J. A. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley; Los Angeles; London, 1991.
125. Moore B., Jr. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston, 1966.
126. Skocpol T. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge; New York, 1979.
127. Skocpol T., Somers M. The Uses of Comparative History in Macrosociological Inquiry // Comparative Studies in Society and History. Vol. 22 (1980). N 2. P. 174–198.
128. Tilly C. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. New York: Russell Sage Foundation, 1984.

**Тематика сравнительно-исторических исследований:****а) Сравнение в экономической истории**

129. Аллен Р. Глобальная экономическая история: Краткое введение / пер. с англ. Ю. Каптуревского. М., 2013.
130. Блок М. Характерные черты французской аграрной истории / пер. с фр. И. И. Фроловой; под ред. проф. А. Д. Люблинской. М., 1957.
131. Кларк Г. Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира / пер. с англ. Н. Эдельмана. М., 2012.
132. Gershenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge, Mass, 1962.
133. Gershenkron A. Europe in the Russian Mirror. Four Lectures in Economic History. Cambridge, 1970.

134. *Hatton T. J., O'Rourke K. H., Taylor A. M.* Introduction: The New Comparative Economic History // *The New Comparative Economic History: Essays in Honor of Jeffrey G. Williamson* / ed. by Timothy J. Hatton, Kevin H. O'Rourke, and Alan M. Taylor. Cambridge, MA, 2007. P. 1–8.
135. *Heaton H.* Summary of Discussion // *The Journal of Economic History*. Vol. 17. N 4 (December 1957). P. 596–602.
136. *O'Brien P. K.* Industrialization, Typologies and History // *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* / Editors-in-Chief Neil J. Smelser and Paul B. Baltes. Amsterdam and New York, 2001. Vol. 11. P. 7360–7367.
137. *Petrusewicz M.* The Modernization of the European Periphery; Ireland, Poland, and the Two Sicilies, 1820–1870: Parallel and Connected, Distinct and Comparable // *Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective* / ed. by Deborah Cohen and Maura O'Connor. New York; London, 2004. P. 145–163.
138. *Pomeranz K.* The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. Princeton and Oxford, 2000.
139. *Rostow W. W.* The Stages of Economic Growth. Cambridge & New York: Cambridge University Press, 1960.
140. *Thrupp S. L.* The Role of Comparison in the Development of Economic Theory // *The Journal of Economic History*. Vol. 17. N 4 (December 1957). P. 554–570.

**б) Сравнение в политической истории**

141. *Андерсон П.* Родословная абсолютистского государства / пер. с англ. И. Куриллы. М., 2010.
142. *Блок М.* Короли-чудотворцы. Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии / пер. с фр. и коммент. В. А. Мильчиной; предисл. Ж. Ле Гоффа. М., 1998.
143. *Випперман В.* Европейский фашизм в сравнении. 1922–1982 / пер. с нем. А. И. Федорова. Новосибирск, 2000.
144. *Кром М. М.* Институт регентства на западе и востоке Европы: опыт сравнительно-исторического исследования // *Образы прошлого: Сборник памяти А. Я. Гуревича*. СПб., 2011. С. 411–426.
145. *Пти-Дютайи Ш.* Феодалная монархия во Франции и в Англии X–XIII веков / пер. с фр. С. П. Моравского. СПб., 2001.
146. Феномен реформ на западе и востоке Европы в начале Нового времени (XVI–XVIII вв.): сборник статей / под ред. М. М. Крома, Л. А. Пименовой. СПб., 2013.

147. *Baldwin P.* The Politics of Social Solidarity: Class Bases of the European Welfare State, 1875–1975. Cambridge: Cambridge UP, 1990 (pbk ed. 1992, reprint 1999).
148. *Genet J.-P.* La genèse de l'État moderne // Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 118 (Juin 1997). P. 3–18.
149. *Hintze O.* Typologie der ständischen Verfassungen des Abendlandes // Hintze O. Staat und Verfassung. Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte (Gesammelte Abhandlungen, Bd. I). 3. Aufl. Göttingen, 1970. S. 120–139.
150. *Hintze O.* Weltgeschichtliche Bedingungen der Repräsentativverfassung // Hintze O. Staat und Verfassung. Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte (Gesammelte Abhandlungen, Bd. I). 3. Aufl. Göttingen, 1970. S. 140–185.
151. *L'État moderne: Bilans et perspectives.* Actes du Colloque tenu au CNRS à Paris les 19–20 septembre 1988 / éd. par Jean-Philippe Genet. Paris, 1990.
152. *Mitteis H.* Der Staat des hohen Mittelalters: Grundlinien einer vergleichenden Verfassungsgeschichte des Lehnszeitalters. 7. Aufl. Weimar, 1962.
153. *Palmer R. R.* The Age of the Democratic Revolution: The Political History of Europe and America, 1760–1800. Princeton, N. J., 1959–1964. Vol. 1–2.
154. *Resistance, Representation, and Community* / ed. by Peter Blickle. Oxford; New York, 1997 (The Origins of the Modern State in Europe, 13<sup>th</sup> to 18<sup>th</sup> Centuries).
155. *Schieder T.* Typologie und Erscheinungsformen des Nationalstaats in Europa // Historische Zeitschrift. Bd. 202. H. 1 (Februar 1966). S. 58–81. См. также выше книгу Ч. Тилли: [120].

**в) Сравнительная история революций**

156. *Early Modern Revolutions: An Exchange* // The Journal of Modern History. Vol. 46. N 1 (March 1974). P. 99–110.
157. *Goldstone J.* The Comparative and Historical Study of Revolutions // Annual Review of Sociology. Vol. 8 (1982). P. 187–207.
158. *Smith S. A.* Revolution and the People in Russia and China: A Comparative History. Cambridge, 2008.
159. *Zagorin P.* Prolegomena to the Comparative History of Revolution in Early Modern Europe // Comparative Studies in Society and History. Vol. 18. N 2 (April 1976). P. 151–174.

См. также выше работы Дж. Годстоуна, Б. Мура, Т. Скочпол: [124, 125, 126].

**з) Сравнение в социальной истории**

160. *Блок М.* Феодальное общество / пер. с фр. М. Ю. Кожевниковой, Е. М. Лысенко. М., 2003.
161. *Гуревич А. Я.* Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970. Переизд. под названием «Начало феодализма в Европе» в кн.: Гуревич А. Я. Избранные труды: в 4 т. Т. 1. Древние германцы. Викинги. М.; СПб., 1999. С. 189–342.
162. *Ливен Д.* Аристократия в Европе. 1815–1914 / пер. с англ. под ред. М. А. Шерешевской. СПб., 2000.
163. *Burke P.* Venice and Amsterdam. A Study of Seventeenth-Century Elites. London, 1974.
164. *Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert* / Hg. von Jürgen Kocka. Göttingen, 1987.
165. *Cohen D.* The War Come Home: Disabled Veterans in Britain and Germany, 1914–1939. Berkeley, CA, 2001.
166. *Confino M.* Servage russe, esclavage américain (note critique) // *Annales ESC*. Vol. 45. N 5 (1990). P. 1119–1141.
167. *Confino M.* Questions of Comparability: Russian Serfdom and American Slavery // *Explorations in Comparative History* / ed. by Benjamin Z. Kedar. Jerusalem, 2009. P. 93–112.
168. *Eisenberg C.* The Comparative View in Labour History: Old and New Interpretations of the English and German Labour Movements before 1914 // *International Review of Social History*. Vol. 34 (1989). P. 403–432.
169. *Fredrickson G. M.* Black Liberation: A Comparative History of Black Ideologies in the United States and South Africa. Oxford; New York, 1995.
170. *Fredrickson G. M.* Planters, Junkers, and *Pomeschiki* // Fredrickson G. M. The Comparative Imagination: On the History of Racism, Nationalism, and Social Movements. Berkeley, Los Angeles, London, 2000. Chap. 4. P. 66–73.
171. *Green N. L.* L'histoire comparative et le champ des études migratoire // *Annales. ESC*. Vol. 45. N 6 (1990). P. 1335–1350.
172. *Green N. L.* The Comparative Method and Poststructural Structuralism: New Perspectives for Migration Studies // *Journal of American Ethnic History*. Vol. 13. N 4 (Summer 1994). P. 3–22.

173. *Hintze O.* Wesen und Verbreitung des Feudalismus // Hintze O. Staat und Verfassung. Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte (Gesammelte Abhandlungen, Bd. I). 3. Aufl. Göttingen, 1970. S. 84–119.
174. *Hroch M.* Social Preconditions of National Revival in Europe: A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
175. *Kaelble H.* Soziale Mobilität und Chancengleichheit im 19. und 20. Jahrhundert. Göttingen, 1983.
176. *Kolchin P.* Unfree Labor: American Slavery and Russian Serfdom. Cambridge, Mass., and London, 1987.
177. *Lucassen J.* Brickmakers in Western Europe (1700–1900) and Northern India (1800–2000): Some Comparisons // *Global Labour History: A State of the Art* / ed. by Jan Lucassen. Bern, 2006. P. 513–571.
178. *Mousnier R.* Peasant Uprisings in Seventeenth-Century France, Russia and China / transl. by Brian Pearce. New York, 1972.
179. *Reynolds S.* Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted. Oxford; New York, 1994.
180. *Reynolds S.* The Use of Feudalism in Comparative History // *Explorations in Comparative History* / ed. by Benjamin Z. Kedar. Jerusalem, 2009. P. 191–217.

**д) Сравнительно-историческая урбанистика**

181. *Вебер М.* Город / пер. М. И. Левиной // Вебер М. Избранное. Образ общества / пер. с нем. М., 1994. С. 309–446.
182. *Пиренн А.* Средневековые города и возрождение торговли / пер. с англ. С. И. Архангельского. Изд 2-е. Нижний Новгород, 2009.
183. *Mumenthaler R.* Spätmittelalterliche Städte West- und Osteuropas im Vergleich: Versuch einer verfassungsgeschichtlichen Typologie // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. N. F. Bd. 46 (1998). H. 1. S. 39–67.
184. *Nicholas D.* Urban Europe, 1100–1700. Basingstoke; New York, 2003.
185. *Ruble B. A.* Second Metropolis Pragmatic Pluralism in Gilded Age Chicago, Silver Age Moscow, and Meiji Osaka. Cambridge; New York; Melbourne; Washington, DC, 2001.

**е) Сравнительная история империй и колониализма**

186. *Акимов Ю. Г.* Северная Америка и Сибирь в конце XVI — середине XVIII в.: Очерк сравнительной истории колонизаций. СПб., 2010.

187. *Рубер А.* Сравнивая континентальные империи // Российская империя в сравнительной перспективе: Сборник статей. М., 2004. С. 33–70.
188. *Elliott J. H.* Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in America, 1492–1830. New Haven and London, 2006.
189. *Hart J.* Comparing Empires: European Colonialism from Portuguese Expansion to the Spanish-American War. Gordonsville, VA, 2003.
190. *Miller A.* The Value and the Limits of a Comparative Approach to the History of Contiguous Empires on the European Periphery // *Imperialogy: From Empirical Knowledge to Discussing the Russian Empire* / ed. by Kimitaka Matsuzato. Sapporo, 2007. P. 19–32.
191. *Stoler A. L.* Tense and Tender Ties: The Politics of Comparison in North American History and (Post) Colonial Studies // *The Journal of American History*. Vol. 88. N 3 (December 2001). P. 829–865.
192. *Two Colonial Empires: Comparative Essays on the History of India and Indonesia in the Nineteenth Century* / ed. by C. A. Bayly and D. H. A. Kolff. Dordrecht; Boston; Lancaster, 1986.

### **История России в сравнительной перспективе**

193. *Бычкова М. Е.* Русское государство и Великое княжество Литовское с конца XV в. до 1569 г. Опыт сравнительно-исторического изучения политического строя. М., 1996.
194. *Зенченко М. Ю.* «...Хотят татарове тамги и десятины» (По поводу спорности бесспорных мнений о «татарском наследии» на Руси) // *Одиссей. Человек в истории*. 2010/2011. М., 2012. С. 488–503.
195. *Кареев Н. И.* В каком смысле можно говорить о существовании феодализма в России? По поводу теории Павлова-Сильванского. СПб., 1910.
196. *Каишанов С. М.* О типе Русского государства XIV–XVI вв. // Чтения памяти В. Б. Кобрин «Проблемы отечественной истории и культуры периода феодализма». Тезисы докладов и сообщений. М., 1992. С. 85–92.
197. *Каишанов С. М.* Исторические параллели: Иван III и Карл Мартелл // Россия в IX–XX веках: Проблемы истории, историографии и источниковедения. М., 1999. С. 180–181.
198. *Кивельсон В.* Картографии царства: Земля и ее значения в России XVII века / пер. с англ. Н. Мишаковой. М., 2012.
199. *Клибанов А. И.* Реформационные движения в России в XIV — первой половине XVI вв. М., 1960.

200. *Ключевский В. О.* Сочинения: в 8 т. Т. 1. Курс русской истории. Ч. 1. М., 1956.
201. *Кром М. М.* Рождение государства Нового времени в России и в Европе: Сравнительно-историческая перспектива / Материалы международной научной конференции «Иван III и проблемы российской государственности: к 500-летию со дня смерти Ивана III (1505–2005) // Труды кафедры истории России с древнейших времен до XX века / отв. ред. А. Ю. Дворниченко. СПб., 2006. С. 27–36.
202. *Кром М. М.* «Вдовствующее царство»: Политический кризис в России 30–40-х годов XVI века. М., 2010.
203. *Кром М. М.* Канцелярии и документы великих княжеств Литовского и Московского в XV — первой половине XVI в.: опыт сравнительного анализа // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XXXI. СПб., 2010. С. 46–54.
204. *Курбатов О. А.* Западноевропейские военно-теоретические модели XVII в. и их место в реформировании русской армии // Феномен реформ на западе и востоке Европы в начале Нового времени (XVI–XVIII вв.): сборник статей / под ред. М. М. Крома, Л. А. Пименовой. СПб., 2013. С. 231–249.
205. *Латкин В. Н.* Земские соборы Древней Руси, их история и организация сравнительно с западноевропейскими представительными учреждениями. Историко-юридическое исследование. СПб., 1885.
206. *Ливен Д.* Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней / пер. с англ. А. Козлика, А. Платонова. М., 2007.
207. *Мельникова Е. А.* Возникновение Древнерусского государства и скандинавские политические образования в Западной Европе (сравнительно-типологический аспект) // Мельникова Е. А. Древняя Русь и Скандинавия. Избранные труды. М., 2011. С. 35–48.
208. *Миронов Б. Н.* Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): в 2 т. СПб., 1999.
209. *Назаров В. Д.* Нереализованная возможность: существовало ли рыцарство на Руси в XIII–XV веках? // Одиссей. Человек в истории. 2004. М., 2004. С. 115–126.
210. *Павлов-Сильванский Н. П.* Феодализм в России. М., 1988.
211. *Переход от феодализма к капитализму в России: Материалы Всесоюзной дискуссии.* М., 1969.
212. *Рожков Н. А.* Русская история в сравнительно-историческом освещении. (Основы социальной динамики): в 12 т. Пг.; М., 1919–1926; изд 2-е.: Пг.; М., 1923. Т. 1–5.

213. *Российская империя в сравнительной перспективе: Сборник статей.* М., 2004.
214. *Серов Д. О. «Быть по маниру шведскому»: сценарии заимствования иностранных правовых институтов в ходе проведения административной и судебной реформ Петра I // Феномен реформ на западе и востоке Европы в начале Нового времени (XVI–XVIII вв.): сборник статей / под ред. М. М. Крома, Л. А. Пименовой. СПб., 2013. С. 250–269.*
215. *Соловьев С. М. Сочинения: в 18 кн. Кн. VII. История России с древнейших времен. Т. 13–14. М., 1991.*
216. *Тарановский Ф. В. Феодализм в России. Варшава, 1902.*
217. *Тихомиров М. Н. Древнерусские города. Изд. 2-е, доп. М., 1956.*
218. *Трепавлов В. В. Восточные элементы российской государственности (к постановке проблемы) // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Ч. I. М., 1993. С. 40–52.*
219. *Флоря Б. Н. Отношения государства и церкви у восточных и западных славян. (Эпоха средневековья). М., 1992.*
220. *Флоря Б. Н. «Служебная организация» у восточных славян // Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей. М., 1987. С. 142–151.*
221. *Флоря Б. Н. «Служебная организация» и ее роль в развитии феодального общества у восточных и западных славян // Отечественная история. 1992. № 2. С. 56–74.*
222. *Флоря Б. Н. Тимар и поместье // Особенности российского исторического процесса: Сборник статей памяти академика Л. В. Милова (к 80-летию со дня рождения) / отв. ред. А. А. Горский. М., 2009. С. 125–135.*
223. *Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978.*
224. *Черепнин Л. В. К вопросу о сравнительно-историческом методе изучения русского и западноевропейского феодализма в отечественной историографии // Черепнин Л. В. Вопросы методологии исторического исследования. Теоретические проблемы истории феодализма. Сборник статей. М., 1981. С. 128–139.*
225. *Черепнин Л. В., Пашуто В. Т. Образование Русского централизованного государства в сравнительно-историческом аспекте (XVI–XVII вв.) // Черепнин Л. В. Вопросы методологии исторического исследования. Теоретические проблемы истории феодализма. Сборник статей. М., 1981. С. 149–161.*

226. *Шунаков Е. А.* Образование Древнерусского государства. Сравнительно-исторический аспект. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2009.
  227. *Юрганов А. Л.* Категории русской средневековой культуры. М., 1998.
  228. *Fascination and Enmity. Russia and Germany as Entangled Histories, 1914–45* // *Kritika: Explorations in Eurasian History*. Vol. 10. N 3 (Summer 2009).
  229. *Kivelson V. A.* Merciful Father, Impersonal State: Russian Autocracy in Comparative Perspective // *Modern Asian Studies*. Vol. 31. N 3 (1997). P. 635–663.
  230. *Kivelson V. A.* On Words, Sources, and Historical Method: Which Truth about Muscovy? // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. Vol. 3. N 3 (Summer 2002). P. 487–499.
  231. *Krom M.* Formen der Patronage im Russland des 16. und 17. Jahrhunderts: Perspektiven der vergleichenden Forschung im europäischen Kontext // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. Bd. 57 (2009). H. 3. S. 321–345.
  232. *Ostrowski D.* The Mongol Origins of Muscovite Political Institutions // *Slavic Review*. Vol. 49. N 4 (Winter 1990). P. 525–542.
  233. *Pelenski J.* State and Society in Muscovite Russia and the Mongol — Turkic System in the Sixteenth Century // *Forschungen zur osteuropäischen Geschichte*. Bd. 27. Berlin, 1980. P. 156–167.
  234. *Russia in the European Context, 1789–1914: A Member of the Family* / ed. by Susan P. McCaffray and Michael Melancon. New York, 2005.
- См. также работы А. Гершенкрона, Д. Ливена, Р. Мунье, А. Рибера, Б. Рубла, С. Смита [132, 133, 162, 178, 187, 185, 158].

- Абрамс Ф. (Abrams P.) 141  
Аврех А. Я. 113  
Айзенберг Х. (Eisenberg Ch.) 150, 196  
Айзенштадт Ш. (Eisenstadt S. N.) 142  
Айферт Х. (Eifert Ch.) 75  
Акимов Ю. Г. 155, 156  
Аллен Р. (Allen R.) 169, 170  
Андерсон Б. (Anderson B.) 200, 201  
Андерсон П. (Anderson P.) 142, 181, 182  
Архимед 47
- Бабкова Г. О. 133  
Бейли К. (Bayly C. A.) 199–201, 203  
Беккерт С. (Beckert S.) 92  
Белов Г., фон (Below G., von) 30  
Белявский М. Т. 113  
Бендикс Р. (Bendix R.) 94, 98, 99, 142, 144  
Бергер Ш. (Berger S.) 157
- Берк П. (Burke P.) 50, 184, 189  
Бернгейм Э. (Bernheim E.) 31, 40, 119  
Берр А. (Berr H.) 40, 46, 57  
Бликле П. (Blickle P.) 183  
Блок М. (Bloch M.) 10, 39, 45, 51–59, 62, 69, 71, 76, 77, 80, 82, 88, 120–123, 128, 129, 131–134, 137–139, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 171, 173, 185–187, 201, 212, 223  
Боас Ф. (Boas F.) 28  
Боден Ж. (Bodin J.) 18  
Болдуин П. (Baldwin P.) 11, 75–77, 81, 82, 88, 136, 137, 143, 151, 154, 161, 170, 179, 193  
Боннелл В. (Bonnell V.) 101  
Бопп Ф. (Bopp F.) 26  
Бочаров А. В. 7, 144  
Браун Э. (Brown E. A. R.) 187, 211  
Бродская Л. И. 154  
Бройи Дж. (Breuilley J.) 199  
Брэмбусше А., ван ден (Braembussche A., van den) 144

---

\* Указатель содержит фамилии ученых, упомянутых в основном тексте книги. Фамилии, содержащиеся в библиографических ссылках и в списке литературы, помещенном в конце учебного пособия, в него не включены. Составитель — М. М. Дадькина.

- Буравой М. (Burawoy M.) 100, 101
- Ванн Вудворд К.** (Vann Woodward C.) 70, 72
- Вебер М. (Weber M.) 8, 38–42, 45, 51, 67, 68, 94, 99, 102, 128, 137, 185, 186
- Велер Х.-У. (Wehler H.-U.) 78
- Велскопф Т. (Welskopp T.) 125, 126
- Вернадский Г. В. 212
- Вернер М. (Werner M.) 84, 87–89
- Вико Дж. (Vico G.) 21–23, 46
- Виндельбанд В. (Windelband W.) 35, 36
- Випперман В. (Wippermann W.) 179, 180
- Владимирский-Буданов М. Ф. 107
- Вольтер 19, 22, 33, 59
- Врис Я., де (Vries J., de) 12
- Галтон Ф.** (Galton F.) 28
- Гаусс И. К. Ф. (Gauß J. C. F.) 47
- Гварнери К. (Guarneri C. J.) 72
- Гей П. (Gay P.) 71, 72
- Геллнер Э. (Gellner E.) 199, 200
- Гердер И. Г. (Herder J. G.) 19, 22, 23
- Геродот 7, 8, 11, 15, 16, 18, 82, 222
- Гершенкрон А. (Gerschenkron A.) 64–69, 82, 88, 102, 128, 153, 161, 165, 196
- Гидденс Э. (Giddens A.) 140, 141
- Гинзбург К. (Ginzburg C.) 8
- Глотц Г. (Glottz G.) 39, 40, 51, 119
- Голдстоун Дж. (Goldstone J. A.) 8, 176
- Голдторп Дж. (Goldthorpe J. H.) 100
- Гримм Я. (Grimm J.) 26
- Грин Н. (Green N. L.) 61, 154, 157, 198
- Грох М. (Hroch M.) 12, 149, 153, 200–203
- Гру Р. (Grew R.) 9, 11, 72, 123–126, 131, 154, 224
- Гумбольдт В., фон (Humboldt W., von) 26
- Гуревич А. Я. 114, 187, 210, 211
- Давийе Л.** (Davillé L.) 40, 53, 119
- Данилевский Н. Я. 46
- Деглер К. (Degler C. N.) 70, 74
- Декарт Р. 47
- Детьенн М. (Detienne M.) 146
- Дильтей В. (Dilthey W.) 37
- Дройзен И. Г. (Droysen J. G.) 30, 31, 34, 139
- Дюркгейм Э. (Durkheim E.) 29, 30, 39, 40, 52, 53, 143, 160
- Загорин П.** (Zagorin P.) 177
- Зенченко М. Ю. 214
- Зундхауссен Х. (Sundhaussen H.) 79
- Ирие А.** (Iriye A.) 92
- Кареев Н. И.** 10, 105, 107, 108, 119, 140, 141
- Каштанов С. М. 158, 159, 214, 215
- Кедар Б. (Kedar B. Z.) 39, 45, 53, 57, 62, 130
- Кёнигсбергер Х. (Koenigsberger H. G.) 173, 176, 177
- Кивельсон В. (Kivelson V. A.) 215, 216, 218, 219, 221, 224
- Кларк Г. (Clark G.) 168, 169
- Клаус А. (Klaus A.) 74–76, 150, 179
- Клибанов А. И. 112

- Ключевский В. О. 104, 107  
Ковалевский М. М. 106  
Ковальченко И. Д. 10  
Кокка Ю. (Kocka J.) 11, 79, 81, 82, 93, 125, 126, 132, 135, 137–139, 148, 151, 157, 160, 161, 170, 195, 223  
Коллингвуд Р. Дж. (Collingwood R. G.) 22, 47, 49, 50  
Колчин П. (Kolchin P.) 11, 73, 74, 125, 147, 149, 150, 192–194  
Конрад С. (Conrad S.) 90, 92  
Конт О. (Comte O.) 24, 27, 29, 40  
Конфино М. (Confino M.) 110, 147, 152, 193, 194  
Коэн Д. (Kohen D.) 81, 125, 129, 135, 136, 150, 170  
Курбатов О. А. 133  
Кэлбле Х. (Kaelble H.) 11, 62, 69, 79, 80, 89, 132, 135, 141, 147, 164, 184, 198, 223  
Кювье Ж. (Cuvier G.) 24
- Ланг Дж.** (Lang J.) 206  
**Ланглуа Ш.-В.** (Langlois C.-V.) 32, 34, 39, 40, 51, 53, 54, 119, 129, 133, 134, 145, 146, 171  
**Лаппо-Данилевский А. С.** 10  
**Латкин В. Н.** 106  
**Ле Гофф Ж.** (Le Goff J.) 56  
**Леви Дж.** (Levi G.) 137  
**Либерзон С.** (Lieberson S.) 100  
**Ливен Д.** (Lieven D.) 195, 204, 220  
**Ливий Т.** 17  
**Лукассен Я.** (Lucassen J.) 197, 198  
**Любарский Г. Ю.** 147, 148
- Мабийон Ж.** (Mabillon J.) 22  
**Мазур Л. Н.** 7, 10, 154
- Маккэфрей С.** (McCaffray S. P.) 219  
**Мак-Леннан Дж.** (McLennan J. F.) 26, 27  
**Маркс К.** 65, 112, 187  
**Махони Дж.** (Mahoney J.) 97  
**Мейе А.** (Meillet A.) 52–54, 120, 121  
**Мелансон М.** (Melancon M.) 219  
**Мелконян Э. Л.** 113  
**Миллер А. И.** (Miller A.) 204, 205  
**Милль Дж. С.** (Mill J. S.) 24, 25, 29, 99–101, 124, 131  
**Милюков П. Н.** 107  
**Миронов Б. Н.** 217, 218  
**Миттайс Г.** (Mitteis H.) 171–173  
**Мишле Ж.** (Michelet J.) 34  
**Монтескье Ш.-Л.** 19–21, 23, 140  
**Монфокон Б.** (Montfaucon B., de) 22  
**Мументалер Р.** (Mumenthaler R.) 186  
**Мунье Р.** (Mousnier R.) 190–192  
**Муратори Л.** (Muratori L. A.) 22  
**Мур Б.** (Moore B., Jr.) 8, 94–99, 101, 102, 142, 144, 176  
**Мэддисон Э.** (Maddison A.) 166  
**Мэйн Г.** (Maine H.) 26
- Назаров В. Д.** 211  
**Николас Д.** (Nicholas D.) 185  
**Николс Э.** (Nichols E.) 100  
**Ньютон И.** 63
- О’Брайен П.** (O’Brien P. K.) 66, 166  
**Орлофф Э.** (Orloff A.) 75  
**О’Рурк К.** (O’Rourke K. H.) 165  
**Остерхаммель Ю.** (Osterhammel J.) 92, 150

- Островски Д. (Ostrowski D.) 212, 213
- Павленко Н. И.** 112
- Павлов-Сильванский Н. П. 105–109, 187
- Пайпс Р. (Pipes R.) 219
- Палмер Р. Р. (Palmer R. R.) 70, 71, 175
- Пассрон Ж.-К. (Passeron J.-C.) 141
- Паульманн И. (Paulmann J.) 86, 87
- Пашуто В. Т. 114
- Педерсен С. (Pedersen S.) 75, 76, 150, 179
- Пеленски Я. (Pelenski J.) 212, 213
- Петрусевич М. (Petruszewicz M.) 11
- Петти У. (Petty W.) 68
- Печуро Е. Э. 111, 113
- Пиренн А. (Pirenne H.) 10, 44–46, 51, 53, 69
- Пифагор 47
- Платон 17
- Плутарх 18
- Полибий 16–18, 46
- Померанц К. (Pomeranz K.) 166–168
- Про А. (Prost A.) 141
- Пти-Дюгайи Ш. (Petit-Dutaillis C.) 171, 172
- Пуанкаре А. (Poincaré H.) 40
- Рандерия Ш.** (Randeria S.) 90, 91
- Ранке Л., фон (Ranke L. von) 30, 34, 35
- Раск Р. (Rask R. C.) 26
- Редлих Ф. (Redlich F.) 62, 161
- Рейнолдс С. (Reynolds S.) 187–189, 193, 210, 211
- Рибер А. (Rieber A.) 204, 205
- Риккерт Г. (Rickert H.) 35, 36
- Рожков Н. А. 109–111, 160
- Роккан С. (Rokkan S.) 144
- Ростов У. (Rostow W. W.) 63–65, 165, 166
- Рубл Б. (Ruble B. A.) 195, 220
- Румянцева М. Ф. 10
- Сеньобос Ш.** (Seignobos C.) 32, 119, 129
- Сергеевич В. И. 105, 106
- Серов Д. О. 133
- Скочпол Т. (Skocpol T.) 94, 99–101, 142, 144, 176, 237
- Смит А. (Smith A.) 169
- Смит С. (Smith S. A.) 177–179
- Смит Э. (Smith A.) 199, 200
- Соловьев С. М. 34, 103, 104, 107
- Сомерс М. (Somers M.) 142, 144
- Спенсер Г. (Spencer H.) 27, 29
- Столер Э. Л. (Stoler A. L.) 208
- Стоун Л. (Stone L.) 96, 97, 102, 176, 177
- Сьюэлл У. (Sewell W. H.) 120–123, 125, 132, 134, 146
- Сэ А. (Sée H.) 46, 53
- Тайлор Э. Б.** (Tylor E. B.) 27, 28, 32
- Тарановский Ф. В. 107
- Тард Г. (Tarde G.) 40
- Тацит К. 17
- Тилли Ч. (Tilly C.) 8, 94, 101, 102, 143, 144, 170, 177
- Тиррелл И. (Tyrrell I.) 91, 92
- Тихомиров М. Н. 111
- Тойнби А. Дж. (Toynbee A. J.) 48–51, 59, 110, 111, 153
- Трапп С. (Thrupp S. L.) 60, 61, 63,

- 70, 122, 123, 126, 165  
Тревелиян Дж. М. (Trevelyan G. M.) 184  
Трёлъч Э. (Troeltsch E.) 36, 37  
Трубецкой Н. С. 212  
Тэйлор, А. (Taylor A. M.) 165
- Уинкс Р. (Winks R. W.) 71, 72  
Уокер Л. (Walker L. D) 52
- Февр** Л. (Febvre L.) 47, 49, 50  
**Флауэр** У. (Flower W. H.) 28  
**Флоря** Б. Н. 115, 214  
**Фредриксон** Дж. (Fredrickson G. M.) 11, 72–74, 82, 125, 126, 150, 161, 162, 170, 193, 223  
**Фриман** Э. (Freeman E.) 31, 105  
**Фрэзер** Дж. (Frazer J. G.) 53, 54, 58, 120  
**Фукидид** 16
- Хаттон**, Т. (Hatton T. J.) 165  
**Хаупт** Х.-Г. (Haupt H.-G.) 8, 59, 77, 79, 93, 125, 126, 132, 135, 137–139, 148, 151, 157, 160, 161, 170, 223  
**Хеншелл** Н. (Henshall N.) 182, 183  
**Хилл** А. (Hill A. O.) 52, 121–123  
**Хилл** Б. (Hill B. H.) 52, 121–123  
**Хильдермайер** М. (Hildermeier M.) 79  
**Хинце** О. (Hintze O.) 10, 38, 42–45, 51, 59, 76, 82, 128, 137, 171, 173, 185, 186  
**Хобсбаум** Э. (Hobsbawm E.) 199
- Циммерманн** Б. (Zimmermann B.) 84, 87–89  
**Цицерон** 18
- Чакрабарти** Д. (Chakrabarti D.) 197  
**Черепнин** Л. В. 106, 114  
**Чистозвонов** А. Н. 113
- Шидер** Т. (Schieder T.) 20, 21, 50, 61, 78, 120, 132, 139, 144, 174, 175, 202  
**Шиллер** Ф. 22, 31  
**Шпенглер** О. (Spengler O.) 10, 46–48, 50, 51, 109–111, 153  
**Шэннон** Д. (Shannon D. A.) 71
- Эванс-Причард** Э. (Evans-Pritchard E. E.) 26, 140  
**Экк** А. (Eck A.) 46  
**Элиас** Н. (Elias N.) 8, 94  
**Эллиотт** Дж. (Elliott J. H.) 206, 207  
**Эллис** С. (Ellis S.) 183  
**Эмар** М. (Aymard M.) 10  
**Энгельс** Ф. 112  
**Эспань** М. (Espagne M.) 84–87  
**Эстерберг** Е. (Österberg E.) 183
- Юрганов** А. Л. 210, 211

*Учебное издание*

**КРОМ МИХАИЛ МАРКОВИЧ**

**ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКУЮ КОМПАРАТИВИСТИКУ**

Учебное пособие

Редактор, корректор *Д. М. Капитонов*

Дизайн *А. Ю. Ходот*

Верстка *М. Ю. Кондратьева*

Издательство Европейского университета

в Санкт-Петербурге

191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 3А

e-mail: [books@eu.spb.ru](mailto:books@eu.spb.ru)

тел.: +7 812 386 76 27

факс: +7 812 386 76 39

Сайт и Интернет-магазин Издательства

[WWW.EUPRESS.RU](http://WWW.EUPRESS.RU)

Подписано в печать 09.04.15. Формат 60×84<sup>1/16</sup>.

Усл. печ. л. 14,47. Печать офсетная.

Тираж 800 экз.

Заказ №

Отпечатано в типографии ООО «Аллегро»

196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28

тел./факс (812) 388-9000

e-mail: [beresta@mail.wplus.net](mailto:beresta@mail.wplus.net)